

ФРЭНСИС СКОТТ
ФИЦДЖЕРАЛЬД

Ночь нежна



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Фрэнсис Фицджеральд

Ночь нежна

«Азбука-Аттикус»

1934

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Фицджеральд Ф. С.

Ночь нежна / Ф. С. Фицджеральд — «Азбука-Аттикус»,
1934 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21715-7

Фрэнсис Скотт Фицджеральд принадлежит к числу самых крупных прозаиков США XX века. В своих романах «По ту сторону рая», «Великий Гэтсби», «Последний магнат» и других Фицджеральд сумел наиболее ярко и точно выразить настроения «века джаза», отмеченного парадным оптимизмом и взвинченной тягой к потреблению, века, завершившегося в 1929 году сильнейшим экономическим кризисом. Не стал исключением и его роман «Ночь нежна», который писатель называл «самым любимым своим произведением».

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-21715-7

© Фицджеральд Ф. С., 1934

© Азбука-Аттикус, 1934

Содержание

Книга первая	6
I	6
II	9
III	12
IV	15
V	19
VI	21
VII	26
VIII	30
IX	32
X	35
XI	38
XII	41
XIII	45
XIV	48
XV	50
XVI	53
XVII	57
XVIII	61
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Ночь нежна

И я уже с тобой. Как ночь нежна!

.....

Но здесь темно, и только звезд лучи

Сквозь мрак листвы, как вздох зефиров робкий,

То здесь, то там скользят по мшистой тропке.

Дж. Китс. «Ода к соловью»

Francis Scott
FITZGERALD
1896 – 1940

Перевод с английского Евгении Калашниковой



© Е. Д. Калашникова (наследник), перевод, 1965

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Книга первая

I

В одном приятном уголке Французской Ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель. Пальмы услужливо притеняют его пышущий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно-яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта; но лет десять назад жизнь здесь почти замирала с апреля, когда постоянная английская клиентура откочевывала на север. Теперь вокруг «Hôtel des Étrangerz» Госса теснятся много современных построек, но к началу нашего рассказа лишь с десятка стареньких вилл вянущими кувшинками белели в кущах сосен, что тянутся на пять миль, до самого Канна.

Отель и охряный молитвенный коврик пляжа перед ним составляли одно целое. Ранним утром взошедшее солнце опрокидывало в море далекие улицы Канна, розоватые и кремновые стены древних укреплений, лиловые вершины Альп, за которыми была Италия, и все это лежало на воде, дробясь и колеблясь, когда от покачивания водорослей близ отмели набегала рябь. В восьмом часу появлялся на пляже мужчина в синем купальном халате; сняв халат, он долго собирался с духом, кряхтел, охал, смачивал не прогретой еще водой отдельные части своей особы и, наконец, решался ровно на минуту окунуться. После его ухода пляж около часу оставался пустым. Вдоль горизонта ползло на запад торговое судно; во дворе отеля перекрикивались судомойки; на деревьях подсыхала роса. Еще час, и воздух оглашался автомобильными гудками с шоссе, которое петляло в невысоких Маврских горах, отделяющих побережье от Прованса, от настоящей Франции.

В миле к северу, там, где сосны уступают место запыленным тополям, есть железнодорожный полустанок, и с этого полустанка в одно июньское утро 1925 года небольшой открытый автомобиль вез к отелю Госса двух женщин, мать и дочь. Лицо матери было еще красиво той блеклой красотой, которая вот-вот исчезнет под сетью багровых прожилок; взгляд был спокойный, но в то же время живой и внимательный. Однако всякий поспешил бы перевести глаза на дочь, привороженный розовостью ее ладоней, ее щек, будто освещенных изнутри, как бывает у ребенка, раскрасневшегося после вечернего купанья. Покатый лоб мягко закруглялся кверху, и волосы, обрамлявшие его, вдруг рассыпались волнами, локонами, завитками пепельно-золотистого оттенка. Глаза, большие, яркие, ясные, влажно сияли, румянец был природный – это под самой кожей пульсировала кровь, нагнетаемая ударами молодого крепкого сердца. Вся она трепетала, казалось, на последней грани детства: без малого восемнадцать – уже почти расцвела, но еще в утренней росе.

Когда внизу засинело море, слитое с небом в одну раскаленную полосу, мать сказала:

– Я почему-то думаю, что нам не понравится здесь.

– По-моему, уже вообще пора домой, – отозвалась дочь.

Они говорили без раздражения, но чувствовалось, что их никуда особенно не тянет и они томятся от этого – тем более что ехать куда попало все же не хочется. Искать развлечений их побуждала не потребность подстегнуть усталые нервы, но жадность школьников, которые, успешно закончив год, считают, что заслужили веселые каникулы.

– Дня три пробудем, а потом домой. Я сразу же закажу по телеграфу каюту.

Переговоры о номере в отеле вела дочь; она свободно говорила по-французски, но в самой безупречности ее речи было что-то заученное. Когда они водворились в больших светлых комнатах на первом этаже, девушка подошла к стеклянной двери, сквозь которую палило солнце, и, переступив порог, очутилась на каменной веранде, опоясывавшей здание. У нее

была осанка балерины; она несла свое тело легко и прямо, при каждом шаге не оседая книзу, но словно вытягиваясь вверх. Ее тень, совсем коротенькая под отвесными лучами, лежала у ее ног; на миг она попятилась – от горячего света больно стало глазам. В полусотне ярдов плескалось Средиземное море, понемногу отдавая беспощадному солнцу свою синеву; у самой балюстрады пекся на подъездной аллее выцветший «Бьюик».

Все кругом словно замерло, только на пляже шла хлопотливая жизнь. Три английские нянюшки, углубясь в пересуды, монотонные, как причитания, вязали носки и свитеры викторианским узором, модным в сороковые, в шестидесятые, в восьмидесятые годы; ближе к воде под большими зонтами расположились с десятков мужчин и дам, а с десятков их отпрысков гонялись по мелководью за стайками непуганых рыб или же лежали на песке, подставив солнцу голые, глянцевиные от кокосового масла тела.

Розмэри не успела выйти на пляж, как мимо нее промчался мальчуган лет двенадцати и с ликующим гиканьем врезался в воду. Под перекрестным огнем испытующих взглядов она сбросила халат и последовала его примеру. Проплыв несколько ярдов, она почувствовала, что задевает дно, стала на ноги и пошла, с усилием преодолевая бедрами сопротивление воды. Дойдя до места, где ей было по плечи, она оглянулась; лысый мужчина в трусиках и с моноклем, выпятив волосатую грудь и втянув нахально выглядывающий из трусиков пуп, внимательно смотрел на нее с берега. Встретив ее ответный взгляд, мужчина выронил монокль, который тут же исчез в курчавых зарослях на его груди, и налил себе из фляжки стаканчик чего-то.

Розмэри опустила лицо в воду и быстрым кролем поплыла к плоту. Вода подхватила ее, любовно спрятала от жары, просачиваясь в волосы, забираясь во все складочки тела. Розмэри нежилась в ней, барахталась, кружилась на месте. Наконец, запыхавшаяся от этой возни, она добралась до плота, но какая-то дочерна загорелая женщина с очень белыми зубами встретила ее любопытным взглядом, и Розмэри, внезапно осознав собственную белесую наготу, перевернулась на спину, и волны понесли ее к берегу. Как только она вышла из воды, с ней сейчас же заговорил волосатый мужчина с фляжкой.

– Имейте в виду, дальше плота заплывать нельзя – там могут быть акулы. – Национальность его трудно было определить, но по-английски он говорил, слегка растягивая слова на оксфордский манер. – Вчера только они сожрали двух моряков с флотилии, которая стоит в Гольф-Жуан.

– Боже мой! – воскликнула Розмэри.

– Они охотятся за отбросами, знают, что вокруг флотилии всегда есть чем поживиться.

Сделав стеклянные глаза в доказательство того, что заговорил лишь из желания предостеречь ее, он отступил на два крошечных шажка и налил себе еще стаканчик.

Приятно смущенная приливом общего внимания, который она ощутила во время этого разговора, Розмэри оглянулась в поисках места. По-видимому, каждое семейство считало своей собственностью клочок пляжа вокруг зонта, под которым оно расположилось; кроме того, от зонта к зонту летели замечания, шутки, время от времени кто-нибудь вставал и переходил к соседям – словом, тут царил дух замкнутого сообщества, вторгнуться в которое было бы не деликатно. Чуть подалее, там, где берег усеян был галькой и обрывками засохших водорослей, Розмэри заметила группу людей с кожей, еще не тронутой загаром, как и у нее самой. Вместо огромных пляжных зонтов они укрывались под обыкновенными зонтиками и выглядели новичками на этом берегу. Розмэри отыскала свободное местечко посередине между темнокожими и светлокожими, разостлала на песке свой халат и улеглась.

Сперва она только улавливала неясный гул голосов, слышала скрип шагов, огибавших ее распростертое тело, да по мельканию теней угадывала, – когда кто-то, проходя, на миг загоразживал солнце. Какой-то любопытный пес обдал ей шею теплым, частым дыханием; от горячего солнца уже саднило кожу, а над ухом звучало тихое, утомленное «оxxx» отползающих волн. Мало-помалу она стала различать отдельные голоса и даже выслушала целую историю о том,

как некто, презрительно названный «этот тип Норт», вчера похитил официанта в одном каннском кафе, чтобы распилить его надвое. Рассказчица была седая особа в вечернем туалете; она, видимо, не успела переодеться после вчерашнего вечера: волосы ее украшала диадема, а с плеча уныло свешивался увядший цветок. Охваченная безотчетной антипатией к ней и ее спутникам, Розмэри повернулась к ним спиной.

С другой стороны, совсем неподалеку, лежала под зонтом молодая женщина, что-то выписывавшая из раскрытой на песке книги. Она спустила с плеч лямки купального костюма, и ее обнаженная спина блестела на солнце; нитка матового жемчуга оттеняла ровный апельсиново-коричневый загар. В красивом лице было что-то жесткое и в то же время беспомощное. Ее глаза безразлично скользнули по Розмэри. Рядом сидел стройный мужчина в жокейской шапочке и трусиках в красную полоску; дальше та белозубая женщина, которую Розмэри заметила на плоту; она сразу увидела Розмэри и, как видно, узнала. Еще дальше – мужчина в синих трусиках, с длинным лицом и открытой солнцу львиной гривой был занят оживленной беседой с молодым человеком явно романского происхождения в черных трусиках; разговаривая, они перебирали песок, выдергивая кусочки засохших водорослей. Почти все они были, видимо, американцы, но что-то отличало их от тех американцев, с которыми ей приходилось в последнее время встречаться.

Немного спустя ей стало ясно, что человек в жокейской шапочке разыгрывает перед своей компанией какую-то комическую сценку; он с важным видом разгребал граблями песок и при этом говорил что-то, видимо, очень смешное и никак не вязавшееся с невозмутимо-серьезным выражением его лица. Дошло до того, что уже каждая его фраза, едва ли не каждое слово стали вызывать взрыв веселого хохота. Даже те, кто, как и Розмэри, находился слишком далеко, наставляли антеннами уши, стараясь уловить не долетавшие до них слова, и единственным человеком на всем пляже, который оставался равнодушным к происходящему, была молодая женщина с жемчугом на шее. Она, быть может из собственнической скромности, лишь ниже склонялась над своими выписками после каждой вспышки веселья.

Прямо с неба над Розмэри раздался вдруг голос волосатого господина с моноклем:

– А вы здорово плаваете.

Розмэри запротестовала.

– Нет, кроме шуток. Моя фамилия Чемпион. Тут есть одна дама, она вас на прошлой неделе видела в Сорренто и говорит, что знает, кто вы, и очень хотела бы с вами познакомиться.

Розмэри, скрывая досаду, оглянулась и увидела, что все светлокотие выжидательно на нее смотрят. Она неохотно встала и пошла к ним.

– Миссис Абрамс... Миссис Маккиско... Мистер Маккиско... Мистер Дамфри...

– А мы знаем, кто вы, – сказала дама в вечернем туалете. – Вы Розмэри Хойт, я в Сорренто сразу вас узнала и спросила у портъе, и мы все в восторге от вас и от вашего фильма и хотели бы знать, почему вы не в Америке и не снимаетесь еще в каком-нибудь таком же дивном фильме.

Они суетливо задвигались, освобождая ей место. Узнавшая ее дама вопреки своей фамилии была не еврейка. Она принадлежала к породе тех «своих старушек», которые благодаря превосходному пищеварению и полной душевной глухоте остаются законсервированными на два поколения вперед.

– Нам хотелось предупредить вас, чтоб вы были поосторожнее с солнцем, – продолжала щебетать дама, – в первый день легко обжечься, а вам нужно беречь свою кожу, но здесь все так цирлих-манирлих, на этом пляже, что мы побоялись, а вдруг вы обидитесь.

II

– Мы думали, вы, может быть, тоже участвуете в заговоре, – сказала миссис Маккиско. Это была сокрушительно напористая молодая особа с хорошеньким личиком и оловянными глазами. – Тут не разберешь, кто участвует, а кто нет. Мой муж целый час очень любезно разговаривал с одним господином, а оказалось, он один из главных участников, чуть ли не второе лицо.

– В заговоре? – недоуменно спросила Розмэри. – Разве существует какой-то заговор?

– Душенька, откуда же *нам* знать? – сказала миссис Абрамс с конвульсивным смешком, характерным для многих толстых женщин. – Мы-то, во всяком случае, не участвуем. Мы галерка.

Мистер Дамфри, белобрысый молодой человек женственного склада, вставил: «Мамаше Абрамс любой заговор нипочем», на что Кампион погрозил ему моноклею и сказал:

– Но-но, Ройял, не надо злословить.

Розмэри беспокойно поеживалась, сожалея, что матери нет рядом. Эти люди были ей несимпатичны, особенно когда она невольно сравнивала их с интересной компанией в другом конце пляжа. Ее мать обладала скромным, но безошибочным светским тактом, который позволял быстро и умело выходить из затруднительных положений. А Розмэри очень легко попадала в такие положения, чему виной была сумбурная смесь французского воспитания с наложившимся позднее американским демократизмом – тем более что знаменитостью она сделалась всего лишь полгода назад.

Мистеру Маккиско, сухопарому господину лет тридцати, рыжему и в веснушках, упоминание о «заговоре» явно не нравилось. Он сидел лицом к морю и смотрел на волны, но тут, метнув быстрый взгляд на жену, повернулся к Розмэри и сердито спросил ее:

– Давно приехали?

– Сегодня только.

– А-а.

Должно быть, он счел, что этим уже дано разговору другое направление, и взглядом призвал остальных продолжать в том же духе.

– Думаете пробыть здесь все лето? – невинно спросила миссис Маккиско. – Если так, вы, вероятно, увидите, чем кончится заговор.

– Ради бога, Вайолет, довольно об этом! – взвился ее супруг. – Найди себе, ради бога, другую тему!

Миссис Маккиско склонилась к миссис Абрамс и проговорила громким шепотом:

– У него нервы.

– Никаких у меня нет нервов, – зарычал мистер Маккиско. – Вот именно, никаких.

Он явно кипятился – бурая краска расплзлась по его лицу, смешав все доступные этому лицу выражения в какую-то неопределенную кашу. Смутно чувствуя это, он поднялся и пошел в воду. Жена догнала его на полпути, и Розмэри, воспользовавшись случаем, последовала за ними.

Сделав несколько шагов, мистер Маккиско шумно втянул в себя воздух, бросился в плыв и отчаянно заколотил вытянутыми руками по воде, что, по-видимому, должно было изображать плавание кролем. Очень скоро воздуха ему не хватило, он встал на ноги и оглянулся, явно удивленный, что все еще находится в виду берега.

– С дыханием у меня не ладится. Не знаю, как правильно дышать. – Он вопросительно смотрел на Розмэри.

– Выдох делается под водой, – объяснила Розмэри. – А на каждый четвертый счет вы поднимаете голову и делаете вдох.

– Все остальное для меня пустяки, вот только дыхание. Поплывем к плоту?

На плоту, мерно покачивавшемся от движения волн, лежал человек с львиной гривой. Как только миссис Маккиско ухватилась за край настила, плот неожиданно накренился и сильно толкнул ее в плечо, но человек с львиной гривой вскочил и помог ей влезть.

– Я испугался, как бы вас не стукнуло по голове.

Голос его звучал неуверенно и даже робко; Розмэри удивило необыкновенно печальное выражение его лица, скуластого, как у индейца, с длинной верхней губой и огромными, глубоко запавшими глазами цвета темного золота. Свои слова он произнес одной стороной рта, как будто надеялся, что они дойдут до миссис Маккиско каким-то кружным путем и это умерит их силу. Минуту спустя он прыгнул в воду, и его длинное тело, неподвижно распластавшись на волне, пошло к берегу.

Розмэри и миссис Маккиско следили за ним глазами. Когда затухла инерция толчка, он круто сложился пополам, на миг выставив из воды худые ляжки, и тотчас же исчез под водой, только пена вскипела на поверхности.

– Прекрасный пловец, – сказала Розмэри.

Миссис Маккиско откликнулась с неожиданной яростью:

– Зато дрянной музыкант. – Она повернулась к мужу, который после двух неудачных попыток кое-как вскарабкался на плот и, обретя равновесие, хотел было принять непринужденную позу, но пошатнулся и чуть не упал. – Я сказала, что Эйб Норт, может быть, и хороший пловец, но музыкант он дрянной.

– Да, да, – ворчливо согласился Маккиско. Видимо, это он определял круг мыслей своей жены и не разрешал ей особых вольностей.

– Лично я – поклонница Антейля¹. – Миссис Маккиско снова повернулась к Розмэри, на этот раз с некоторым вызовом. – Антейля и Джойса. У вас там, в Голливуде, возможно, и не слыхали о таких, но, к вашему сведению, мой муж – автор первой критической работы об «Улиссе», появившейся в Америке.

– Курить хочется, – сказал мистер Маккиско, – больше меня в данный момент ничто не интересует.

– У Джойса вся сила в подтексте – верно я говорю, Элберт?

Вдруг она осеклась. Невдалеке от берега купалась женщина в жемчужном колье вместе со своими двумя детьми, и в это мгновение Эйб Норт, поднырнув под одного из них, вырос из воды, точно вулканический остров, с ребенком на плечах. Малыш визжал от страха и восторга, а женщина смотрела на них без улыбки, спокойно и ласково.

– Это его жена? – спросила Розмэри.

– Нет, это миссис Дайвер. Они не в отеле живут. – Ее глаза, точно объектив фотоаппарата, целились в лицо купальщицы. Потом она резко повернулась к Розмэри. – Вы бывали за границей раньше?

– Да, я училась в Париже.

– А, тогда вы должны знать, что интересно провести время во Франции можно, только если заведешь знакомства среди настоящих французов. Ну что могут вынести отсюда эти люди? – Она указала левым плечом на берег. – Живут тесным кружком, варятся в собственном соку. Вот у нас были рекомендательные письма ко всем самым известным художникам и писателям в Париже. И мы прекрасно там прожили.

– Могу себе представить.

– Вы знаете, мой муж сейчас заканчивает свой первый роман.

– Вот как? – рассеянно спросила Розмэри. Она думала о том, удалось ли ее матери заснуть, несмотря на жару.

¹ ...поклонница Антейля. – Джордж Антейль (1900–1939) – американский композитор-авангардист.

– Да, замысел тот же, что и в «Улиссе», – продолжала миссис Маккиско. – Только у Джойса одни сутки, а у моего мужа – целое столетие. Он берет разложившегося старого аристократа-француза и приводит его в столкновение с веком техники...

– Ради бога, Вайолет, перестань всем рассказывать замысел моего романа, – перебил мистер Маккиско. – Я вовсе не желаю, чтобы он сделался общим достоянием еще до того, как книга выйдет из печати.

Розмэри вернулась на берег и, прикрыв халатом уже саднившие плечи, снова улеглась на солнце. Человек в жокейской шапочке обходил теперь своих спутников с бутылкой и стаканчиками в руках, и настроение их все повышалось, а расстояние между ними становилось все меньше, пока, наконец, все зонты не сбились вместе и под одним общим навесом сгрудилась вся компания; как поняла Розмэри, кто-то собирался уезжать, и решено было последний раз выпить на прощанье. Даже дети, возившиеся в песке, почувствовали, где центр веселья, и потянулись туда. Розмэри почему-то казалось, что все веселье исходит от человека в жокейской шапочке.

На небе и на море господствовал полдень – даже белая панорама Канна вдали превратилась в мираж освежительной прохлады, красногрудый, как малиновка, парусник входил в бухту, волоча за собой темный хвост – след открытого моря, еще сохранявшего свою синеву. Казалось, все побережье застыло в неподвижности, и только здесь, под зонтами, просеивавшими солнечный свет, не прекращалась пестрая, разноголосая кутерьма.

Розмэри увидела Кампиона, который шел к ней, но остановился, не дойдя нескольких шагов; она поспешила закрыть глаза, притворяясь спящей, и когда она снова приоткрыла их, перед ней качались два зыбких, расплывчатых столба – чьи-то ноги. Этот кто-то пытался шагнуть в большое, желтое, как песок, облако, но оно уплыло в бескрайность раскаленного неба. Розмэри и в самом деле уснула.

Проснувшись она вся в поту и увидела, что на пляже никого нет, только человек в жокейской шапочке складывает последний зонт. Когда Розмэри села, растерянно моргая глазами, он подошел и сказал:

– А я уже решил было разбудить вас перед уходом. Нехорошо в первый день слишком долго печься на солнце.

– Спасибо. – Розмэри глянула на свои малиновые ноги. – Боже мой!

Она рассмеялась с комическим ужасом, надеясь, что разговор будет продолжен, но Дик Дайвер уже тащил складную кабину и зонт к ожидавшемуся у пляжа автомобилю. Розмэри пошла в воду, чтобы смыть с тела пот. Тем временем он возвратился, собрал раскиданные по песку лопатку, грабли, сито и затолкал все это в расщелину между камнями. Потом огляделся по сторонам, проверяя, не забыто ли что-нибудь.

– Который час, вы не знаете? – крикнула ему Розмэри.

– Около половины второго.

Оба оглянулись на горизонт.

– Час неплохой, – сказал Дик Дайвер. – Не самый худший в сутках.

Он посмотрел на нее, и на миг она жадно и доверчиво окунулась в ярко-синий мир его глаз. Потом он взвалил на плечи остатки своего скарба и зашагал к машине, а Розмэри вышла из воды, стряхнула песок с халата и медленно побрела в отель.

III

Было уже почти два часа, когда Розмэри с матерью вошли в ресторанный зал. Сложный узор теней, падавших на пустые столы, беспрестанно перемещался оттого, что ветер шевелил ветви сосен за окнами. Два официанта убрали посуду, громко тараторя по-итальянски, но сразу замолчали при их появлении и поторопились принести оскуделый вариант полагающегося по распорядку ленча.

– Я на пляже влюбилась, – сказала Розмэри.

– В кого это?

– Сначала в целую симпатичную компанию. А потом в одного мужчину.

– Ты с ним разговаривала?

– Немножко. Очень хорош. Почти совсем рыжий. – Она уплетала за обе щеки. – Впрочем, он женат – обычная история.

Мать была лучшей подругой дочери и руководила ею, делая на это свою последнюю в жизни ставку – явление, довольно распространенное в околотеатральной среде, но миссис Спирс отличалась от других тем, что не искала тут способа отыграть за собственные неудачи. Она не была в обиде на судьбу – два благополучных брака, оба завершившиеся вдовством, укрепили жизнерадостный стоицизм, заложенный в ней природой. Один из ее мужей был кавалерийским офицером, другой – военным врачом, и оба оставили ей небольшой капитал, который она старательно сберегала для Розмэри. Она не баловала дочь и этим сумела закалить ее характер, но в то же время не щадила себя, пестуя ее заботливо и любовно, и этим воспитала в ней идеализм, уже давший свои плоды: Розмэри боготворила мать и на все смотрела ее глазами. А потому, при всей своей детской непосредственности, она была защищена двойной броней, материнской и собственной, вполне по-взрослому чураясь всякой фальши, пошлости и дешевки. Однако после внезапного успеха Розмэри в кино миссис Спирс почувствовала, что пора отлучить ее от груди, и вполне искренне готова была не огорчиться, а порадоваться, если этот кипучий, страстный и взыскательный идеализм сосредоточится на ком-либо, помимо матери.

– Так тебе здесь нравится? – спросила она.

– Здесь можно очень славно пожить, если познакомиться с той компанией. На пляже были еще люди, но довольно противные. И меня узнали – удивительно, куда ни приедешь, везде, оказывается, видели «Папину дочку».

Миссис Спирс дала улечься этому дуновенью тщеславия, потом сказала прозаически деловито:

– А кстати, когда ты думаешь повидаться с Эрлом Брэди?

– Можно съездить даже сегодня вечером, если ты не устала.

– Я не поеду, поезжай одна.

– Ну давай отложим до завтра.

– Я вообще хочу, чтобы ты поехала одна. Это не так далеко – и ты, кажется, достаточно хорошо говоришь по-французски.

– Но если мне не хочется, мама?

– Не хочешь сегодня, поезжай в другой раз, но ты должна это сделать, пока мы здесь.

– Хорошо, мама.

После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы. Ни каких-либо внешних побуждений, ни голосов, на которые нужно откликаться, ни обрывков собственных мыслей, услышанных от кого-то другого, и кажется, что сама жизнь остановилась и не идет дальше.

– Через три дня мы отсюда уедем, хорошо, мама? – сказала Розмэри, когда они вернулись к себе в номер. Снаружи легкий ветерок с моря бередил сгустившийся зной, обдувал стволы деревьев, гнал струйки горячего воздуха в просветы жалюзи.

– А как же твоя пляжная любовь?

– Никого я не люблю, кроме тебя, мамочка.

Розмэри вышла в вестибюль и справилась у Госса-отца насчет поездов до Канна. Швейцар в светло-коричневой ливрее, скучавший около конторки, уставился на нее вытаращенными глазами, но тут же спохватился, вспомнив о солидности, требуемой его *métier*². Розмэри поехала на станцию в автобусе вместе с двумя официантами из ресторана; они всю дорогу почтительно безмолвствовали, и ее это раздражало, ей хотелось крикнуть: «Да не молчите вы, разговаривайте, смейтесь, будьте самими собой. Мне это ничуть не помешает!»

В купе первого класса духота была нестерпимая; от пестрых рекламных плакатов железнодорожных компаний – Акведук в Арле, Амфитеатр в Оранже, зимний спорт в Шамони – больше веяло свежестью, чем от неподвижного моря, бесконечно тянувшегося за окном. В отличие от американских поездов, которые живут собственной напряженной жизнью, едва снисходя к пассажирам – пришельцам из мира иных, не столь головокружительных скоростей, – этот поезд был частью земли, по которой шел. Его дыхание сдувало пыль с пальмовых листьев, его зола вместе с сухим навозом удобряла почву в садах. Розмэри казалось, что стоит протянуть в окно руку, и можно рвать на ходу цветы.

В Канне у вокзала стояло с десятков наемных экипажей; извозчики мирно дремали в ожидании седоков. Вдоль набережной вытянулись большие отели, казино, фешенебельные магазины, обратив к летнему морю глухие, железные маски фасадов. Трудно было поверить, что когда-нибудь здесь наступает «сезон», и Розмэри, не чуждой воздействию моды, сделалось как-то не по себе, словно она проявила нездоровый вкус к мертвечине, словно встречные недоумевают, зачем она здесь в этот период загибается между радостями минувшей зимы и радостями грядущей – здесь, а не на севере, где сейчас бурлит настоящая жизнь.

Выйдя из аптеки, куда она заходила купить кокосового масла, Розмэри увидела женщину с целой охапкой диванных подушек, направлявшуюся к стоявшему у тротуара автомобилю. Она сразу узнала миссис Дайвер. Из окошка автомобиля залаяла черная такса, задремавший шофер встрепенулся и кинулся отворять дверцу хозяйке. Та уселась – прямая, собранная, на прелестном лице ни тени улыбки, глаза бесстрашно и зорко устремлены в пустоту. Из-под ярко-красного платья видны были загорелые ноги без чулок. Густые темные волосы отливали золотом, как шерсть у собаки породы чау-чау.

До обратного поезда оставалось еще полчаса, и Розмэри зашла в «Café des Alliés» на Круазетт, где над столиками зеленел полумрак листвы и оркестр услаждал воображаемую толпу космополитов «Воспоминанием о карнавале» и прошлогодними американскими шлягерами. Она купила «Le Temps» и «Сатердей ивнинг пост» для матери и за стаканом лимонада проглядывала напечатанные в «Пост» мемуары какой-то русской княгини; зыбкие условности девятидесятых годов казались ей сейчас реальней и ближе, чем заголовки сегодняшней французской газеты. Тут сказывалась все та же безотчетная тоска, что навалилась на нее еще в отеле, – она привыкла видеть все нелепости континентального бытия четко разграниченными в газетах на комедию и трагедию и не умела сама выделить наиболее существенное для себя, а потому жизнь во Франции казалась ей теперь однообразной и скучной. Тоску еще усугубляли унылые мелодии оркестра, напоминавшие ту надрывную музыку, под которую извиваются эстрадные акробаты. Она рада была вернуться в «Hôtel des Étrangerz».

² Профессией (*фр.*).

Из-за солнечных ожогов пришлось на следующий день отказаться от купанья в море, поэтому они с матерью наняли автомобиль – основательно поторговавшись, так как Розмэри именно во Франции впервые узнала цену деньгам, – и поехали вдоль Ривьеры, этой дельты многих рек. Шофер, настоящий русский боярин времен Ивана Грозного, добровольно взял на себя обязанности гида, и такие названия, как Ницца, Канн, Монте-Карло, засияли во всем блеске сквозь тусклый камуфляж обыденности, повествуя о государях, приезжавших сюда пировать или умирать, о раджах, швырявших английским танцовщицам глаза Будды, о русских князьях, превращавших свои дни и ночи в сплошные балтийские сумерки воспоминаниями о былом икорном раздолье. Русский дух был особенно силен на побережье – всюду попадались русские книжные магазины, русские бакалейные лавки, сейчас, правда, заколоченные. В те годы с окончанием сезона на Ривьере закрывались православные церкви, и запасы сладкого шампанского, любимого напитка русских, убирались в погреба до их возвращения. «В будущем сезоне вернемся», – говорили они, уезжая, но то были праздные обещания: они не возвращались никогда.

Приятно было ехать обратно, уже под вечер, над морем, причудливо расцвеченным, словно сердолики и агаты детских лет, – зеленоватым, как млечный сок, голубым, как вода после стирки, винно-алым. Приятно было проезжать мимо домиков, где обитатели мирно закусывали на веранде, слушать звуки пианолы из увитых виноградом деревенских таверн. Когда машина свернула с Корниша и покатила к отелю Госса среди темной зелени деревьев, чинно выстроившихся по обочинам, над развалинами древнего акведука уже висела луна...

Где-то в горах над отелем шло гулянье, звуки музыки вместе с призрачным лунным светом просеивались сквозь москитную сетку, которой были затянута окна номера. Вслушиваясь в звуки далекого чужого веселья, Розмэри думала о тех людях, что так понравились ей вчера на берегу. Может быть, завтра она их опять встретит, – впрочем, они, как видно, привыкли держаться особняком, и тот кусок пляжа, на котором они располагаются со своими зонтиками, циновками, собаками и детьми, словно обнесен невидимой оградой. Но одно она твердо решила: свои оставшиеся два утра она не потратит на компанию Маккиско.

IV

Все устроилось само собой. Светлокожих на пляже еще не было, и не успела Розмэри разостлать свой халат и лечь, как от группы слева отделились двое мужчин – тот, в жокейской шапочке, и высокий блондин, любитель распиливать официантов пополам, – и подошли к ней.

– Доброе утро, – сказал Дик Дайвер. Но тут же не выдержал: – Слушайте, ожоги ожогами, но почему вас вчера совсем не было видно? Мы даже забеспокоились.

Розмэри села, и ее приветливая улыбка ясно показала, что она отнюдь не обижена этой непрошеной заботой.

– А мы вам хотели предложить: перебирайтесь-ка поближе к нам, – продолжал Дик Дайвер. – У нас найдется, что выпить и чем закусить, так что вы не прогадаете, приняв наше приглашение.

Он был добр, он был обаятелен; его голос сулил ей защиту и покровительство, а в будущем – целый новый, неведомый мир, бесконечную череду перспектив, одна другой увлекательнее. Представляя ее своим друзьям, он сумел обойтись без упоминания ее имени, в то же время дав ей понять, что все отлично знают, кто она, но умеют уважать ее право на частную жизнь, – подобной деликатности Розмэри почти не встречала со времени своего успеха, разве что среди товарищей по профессии.

Николь Дайвер, подставив солнцу подвешенную к жемчужному колье спину, искала в поваренной книге рецепт приготовления цыплят по-мэрилендски. Розмэри решила, что ей должно быть года двадцать четыре; на первый взгляд казалось, что для нее вполне достаточно расхожего определения «красивая женщина», но, если присмотреться к ее лицу, возникало странное впечатление – будто это лицо задумано было сильным и значительным, с крупной роденовской лепкой черт, с той яркостью красок и выражения, которая неизбежно рождает мысль о темпераментном, волевом характере; но при отделке резец ваятеля стесал его до обыкновенной красоты – настолько, что еще чуть-чуть – и оно стало бы непоправимо банальным. Особенно эта двойственность сказывалась в рисунке губ; изогнутые, как у красавицы с журнальной обложки, они в то же время обладали неуловимым своеобразием, присущим и остальным чертам этого лица.

– Вы здесь надолго? – спросила Николь Дайвер; у нее был низкий, резковатый голос.

Розмэри вдруг показалось вполне возможным задержаться на недельку.

– Да нет, едва ли, – неопределенно ответила она. – Мы уже давно путешествуем по Европе – в марте приехали в Сицилию и с тех пор потихоньку двигаемся на север. Я в январе во время съемок схватила воспаление легких, и мне нужно было поправиться после болезни.

– Ай-я-яй! Как же это вы?

– Простудилась в воде. – Розмэри не очень хотелось пускаться в биографические подробности. – Снимали эпизод, где я бросаюсь в канал в Венеции. Декорация стоила очень дорого, а устанавливать ее еще раз было бы сложно. Вот и пришлось мне прыгать в воду раз десять, не меньше, – а у меня уже был грипп, только я не знала. Мама привела врача прямо на съемочную площадку, но все равно дело кончилось воспалением легких. – Она сразу переменяла тему, прежде чем кто-либо успел сказать слово: – А вам нравится здесь?

– Им это место не может не нравиться, – неторопливо проговорил Эйб Норт. – Они сами его изобрели. – Он неторопливо повернул свою великолепную голову и поглядел на чету Дайверов с нежностью.

– Как так?

– Здешний отель всего второй год не закрывается в летнее время, – пояснила Николь. – В прошлом году мы уговорили Госса оставить на лето одного повара, одного официанта и одного посыльного. Расходы оправдались, а в этом году дела идут совсем хорошо.

– Но вы, кажется, не живете в отеле?

– У нас тут дом наверху, в Тарме.

– Расчет был такой, – сказал Дик, переставляя один из зонтов, чтобы согнать с плеча Розмэри квадратик солнца. – Северные курорты, как, например, Довиль, заполнены русскими и англичанами, которые привыкли к холоду, – ну а половина американцев живет в тропическом климате и потому охотно будет приезжать сюда.

Молодой человек с романской наружностью перелистывал номер «Нью-Йорк геральд».

– Попробуйте-ка определить национальность этих особ, – сказал он вслух и прочел с легким французским акцентом: – «В «Палас-отеле» в Веве остановились господин Пандели Власко, госпожа Якобыла – честное слово, так и написано, – Коринна Медонка, госпожа Паше, Серафим Туллио, Мария Амалия Рото Маис, Мозес Тейбель, госпожа Парагорис, Апостол Александр, Иоланда Иосфуглу и Геновефа де Момус». Вот кто меня особенно пленяет – Геновефа де Момус. Пожалуй, стоит прокатиться в Веве, чтоб поглядеть, какова собой Геновефа де Момус.

Он вскочил на ноги, как от толчка, быстрым, сильным движением распрямив тело. Он казался несколькими годами моложе и Дайвера и Норта. Высокого роста, крепкий, но поджарый – только налитые силой плечи и руки выглядели массивными, – он был бы, что называется, красивый мужчина, если бы постоянная кислая гримаска не портила выражения его лица, освещенного удивительно яркими карими глазами. И все-таки неистовый блеск этих глаз заминался, а капризный рот и морщины пустой и бесплодной досады на юношеском лбу быстро стирались из памяти.

– В списке американцев, прибывших на прошлой неделе, тоже было несколько хороших фамилий, – сказала Николь. – Миссис Ивлин Чепчик и еще – кто там был еще?

– Еще был мистер С. Труп, – сказал Дайвер, тоже поднимаясь на ноги. Он взял свои грабли и пошел вдоль пляжа, тщательно выгребая и отбрасывая попадавшиеся в песке камушки.

– Да, да – С. Труп, и не выговоришь без содрогания, правда?

С Николь было как-то удивительно спокойно, спокойнее даже, чем с матерью, подумала Розмэри. Эйб Норт и Барбан – молодой француз – обсуждали события в Марокко, а Николь, найдя наконец нужный рецепт и списав его, занялась шитьем. Розмэри с любопытством разглядывала их пляжное имущество: четыре больших зонта, дававших густую, надежную тень, складная кабина для переодевания, надувной резиновый конь – еще незнакомые ей новинки послевоенной промышленности, первые образцы возрожденного производства предметов роскоши, нашедшие первых потребителей. Судя по всему, новые знакомые принадлежали к светскому обществу, но Розмэри, вопреки представлениям, издавна внушенным ей матерью, не могла заставить себя смотреть на них как на трутней, от которых нужно держаться подальше. Даже в этот час развеживающего бдения под утренним солнцем их праздная неподвижность казалась ей осмысленной, деятельной, устремленной к какой-то цели, как будто перед нею совершался акт особого, непонятного ей творчества. Незрелый ум Розмэри не пытался вникнуть в суть их отношений друг к другу, ее занимало только, как они отнесутся к ней, но она смутно угадывала, что тут существует сложный переплет чувств – догадка, выразившаяся в ее мыслях коротенькой формулой: «живут интересно».

Она стала присматриваться ко всем троим мужчинам, поочередно выделяя каждого. Все трое были, хоть и по-разному, привлекательны внешне, все обладали какой-то особой мягкостью манер, видимо органически им присущей, а не продиктованной обстоятельствами – и так же отличавшейся от простецких ухваток актерской братии, как подмеченная ею раньше душевная деликатность отличалась от грубоватого панибратства режиссеров, представлявших интеллигенцию в ее жизни. Актеры и режиссеры – других мужчин она до сих пор не встречала, если не считать студентиков, жаждущих любви с первого взгляда, с которыми она познакоми-

лась прошлой осенью на балу в Йельском университете и которые показались ей все на одно лицо.

Эти трое были совсем другими. Барбан, наименее выдержанный из трех, скептик и насмешник, казался несколько поверхностным, порой даже небрежным в обращении. В Эйбе Норте с природной застенчивостью уживался бесшабашный юмор, который привлекал и в то же время отпугивал Розмэри. Цельная натура, она сомневалась в его способности понять и оценить ее.

Но Дик Дайвер – тут не нужны были никакие оговорки. Она молча любовалась им. Солнце и ветер придали его коже красноватый оттенок, и того же оттенка была его короткая шевелюра и легкая поросль волос на открытых руках. Глаза сияли яркой, стальной синевой. Нос был слегка заострен, а голова всегда была повернута так, что не оставалось никаких сомнений насчет того, кому адресован его взгляд или его слова – лестный знак внимания к собеседнику, ибо так ли уж часто на нас смотрят? В лучшем случае глянут мельком, любопытно или равнодушно. Его голос с едва заметным ирландским распеваем звучал подкупающе ласково, но в то же время Розмэри чувствовала в нем твердость и силу, самообладание и выдержку – качества, которыми так дорожила в себе самой. Да, сердце ее сделало выбор, и Николь, подняв голову, увидела это, услышала тихий вздох – ведь избранник принадлежал другой.

Около полудня на пляже появились супруги Маккиско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и сеньор Кампион. Они принесли с собой новый большой зонт, водрузили его, искоса поглядывая на Дайверов, и с самодовольными лицами под него залезли – все, кроме мистера Маккиско, который предпочел гордое одиночество на солнце. Дик с граблями прошел совсем близко от них и, вернувшись к своим, сообщил вполголоса:

– Они там читают учебник хорошего тона.

– Собираются возвращаться в высшем обществе, – сказал Эйб.

Вернулась после купанья Мэри Норт, та дочерна загорелая молодая женщина, которую Розмэри в первый день видела на плоту, и сказала, сверкая озорной улыбкой:

– А-а, я вижу, мистер и миссис Футынуты уже здесь.

– Тс-с, это ведь его друзья, – указывая на Эйба, предостерегла Николь. – Почему вы не идете к своим друзьям, Эйб? Разве вам не приятно их общество?

– Очень приятно, – отозвался Эйб. – До того приятно, что чем от него дальше, тем лучше.

– Так я и знала, что нынешним летом здесь будет слишком много народу, – пожаловалась Николь. – А ведь это *наш* пляж. Дик сам его сотворил из груды камней. – И, подумав, добавила вполголоса, чтобы не услышало трио нянюшек, расположившееся неподалеку: – Но уж лучше эта компания, чем прошлогодние англичане, которые с утра до вечера ахали на весь пляж: «Ах, какое синее море! Ах, какое белое небо! Ах, какой у маленькой Нелли красный носик!»

Розмэри подумала, что не хотела бы иметь Николь своим врагом.

– Да, ведь вы же не видели драки, – продолжала Николь. – Это было за день до вашего приезда: господин со странной фамилией, похожей на название какой-то марки маргарина или горячего...

– Маккиско?

– Вот-вот – он поссорился с женой, и она бросила ему горсть песка в лицо. Тогда он на нее навалился и давай тыкать ее носом в песок. Мы все так и остолбенели. Я даже просила Дика разнять их.

– А знаешь что, – сказал Дик, рассеянно глядя на соломенную циновку. – Я, пожалуй, приглашу их всех к нам на обед.

– И думать не смей! – воскликнула Николь.

– По-моему, это прекрасная мысль. Раз уж они здесь, не следует их чуждаться.

– Мы и не чуждаемся, – смеясь, защищалась Николь. – Но я вовсе не хочу, чтобы еще *меня*, чего доброго, стали тыкать носом в песок. Я злока и недотрога, – сказала она Розмэри и, приподнявшись на локте, крикнула: – Дети, купаться! Надевайте костюмы.

Откуда-то у Розмэри возникло предчувствие, что сегодняшнее купанье запомнится ей на всю жизнь, что, когда бы ни зашла речь о купанье в море, тотчас оживет перед ней этот день и час. Пошли в воду охотно, все вместе, истомленные долгим вынужденным бездействием, отдаваясь морской прохладе после палящего зноя с наслаждением гурмана, запивающего пряное карри вином со льда. У Дайверов, как у наших далеких предков, день был размерен так, чтобы извлечь максимум из того, что дано, чтобы переходом от одного ощущения к другому усилить остроту обоих; Розмэри еще не знала, что предстоит очередной такой переход – от самозабвенного одиночества в волнах к шумному веселью провансальского завтрака. Но ее не покидало чувство, что Дик взял ее под свою защиту и покровительство, и она радостно следовала за всеми, словно подчиняясь его неслышному приказу.

Николь тем временем передала мужу странный предмет, над которым она трудилась все утро. Он скрылся в кабинке и через минуту вышел оттуда в черных кружевных панталонах до колен. Экстравагантность этого костюма вызвала переполох на пляже; впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что под кружевом подшит чехол телесного цвета.

– Ну знаете ли, это выходка педераста! – с негодованием воскликнул мистер Маккиско, но тут же спохватился и, оглянувшись на мистера Дамфри и мистера Кампиона, добавил: – Извините, пожалуйста.

Розмэри кружевные панталоны привели в полный восторг. В своей наивности она горячо откликнулась на расточительные шалости Дайверов, не догадываясь, что все это далеко не так просто и не так невинно, как кажется, что все это тщательно отобрано на ярмарке жизни с упором не на количество, а на качество; и так же, как и все прочее – простота в обращении, доброжелательность и детская безмятежность, предпочтение, отдаваемое простейшим человеческим добродетелям, – составляет часть кабальной сделки с богами и добыто в борьбе, какую она и вообразить себе не могла. Дайверы в эту пору стояли на самой вершине внешней эволюции целого класса – оттого рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими, топорными существами, но уже были налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить Розмэри.

Вместе со всеми Розмэри пила херес и грызла сухое печенье. Дик Дайвер смотрел на нее холодными синими глазами; потом его сильные и ласковые губы разжались, и он сказал:

– А вы и в самом деле похожи на нечто в цвету – давно уже я таких девушек не встречал.

Час спустя Розмэри безутешно рыдала у матери на груди.

– Я люблю его, мама. Я влюблена в него без памяти – никогда не думала, что со мной может случиться такое. А он женат, и жена у него замечательная – ну что мне делать? Ох, если б ты знала, как я его люблю!

– Хотелось бы мне его увидеть.

– Мы к ним приглашены в пятницу на обед.

– Если ты влюблена, ты не плакать должна, а радоваться. Улыбаться должна.

Розмэри подняла голову, взмахнула ресницами, стряхивая слезы – и улыбнулась. Мать всегда имела на нее большое влияние.

V

Розмэри поехала в Монте-Карло в дурном настроении – насколько это вообще было для нее возможно. Крутой и неровный подъем привел ее к Ла-Тюрби, старой Гомоновской студии, теперь перестраивавшейся заново; и пока она, послав Эрлу Брэди свою карточку, дожидалась у решетчатых ворот, ей почудилось, что она в Голливуде. За воротами громоздился пестрый хлам, оставшийся от какой-то уже снятой картины, – кусок улицы индийского селения, большой кит из папье-маше, чудовищная яблоня с яблоками, как баскетбольные мячи, которая здесь, впрочем, казалась просто экзотическим деревом вроде амаранта, мимозы, пробкового дуба или карликовой сосны. Дальше стояли два павильона для съемок, похожие на большие сараи, и между ними кафе-закусочная; и везде были человеческие лица, густо накрашенные, изнуренные ожиданием и напрасной надеждой.

Минут через десять к воротам прибежал молодой человек с шевелюрой канареечного цвета.

– Прошу вас, мисс Хойт. Мистер Брэди на съемочной площадке, но он вас сейчас же примет. Извините, что вам пришлось ждать, – вы не поверите, до чего назойливы эти француженки, просто уж не знаешь, как от них обороняться...

Молодой человек – по-видимому, администратор студии – отворил незаметную дверь в глухой стене одного из павильонов, и Розмэри с неожиданной радостью узнавания шагнула за ним в полутьму. По сторонам маячили смутные фигуры, обращали к ней пепельные лица, точно души в чистилище, потревоженные явлением смертного в их среде. Слышались голоса, приглушенные до шепота, издали доносилось воркующее тремоло фисгармонии. Они обогнули выгородку, образованную фанерными щитами, и перед ними открылось залитое белым трескучим светом пространство, посреди которого лицом к лицу стояли двое – американская актриса и французский актер в сорочке с крахмальной грудью, воротничком и манжетами ярко-розового цвета. Они смотрели друг на друга остекленевшими глазами, и казалось, что они стоят так уже несколько часов; но время шло, и ничего не происходило, никто не шевелился. Световая завеса померкла с противным шипеньем, потом разгорелась снова; вдали жалобно застучали молотком в никуда не ведущую дверь; между верхних софитов высунулась голубая физиономия, прокричала что-то невнятное в черноту под крышей. Потом перед Розмэри чей-то голос нарушил царившую на площадке тишину:

– Ты не вздумай снимать чулки, детка, изорвешь хоть дюжину пар, тоже не беда. Это платье стоит пятнадцать фунтов.

Говоривший пятился назад, пока не натолкнулся на Розмэри, и тогда администратор сказал:

– Эрл – мисс Хойт.

Они никогда не встречались раньше. Брэди был кипуч и стремителен. Пожимая ей руку, он окинул ее всю быстрым взглядом – знакомая игра, которая сразу ввела Розмэри в привычную атмосферу и при этом, как всегда, вызвала чувство превосходства над партнером. Если ее особа – ценность, почему не извлечь преимущества из того факта, что эта ценность принадлежит ей?

– Я ждал вас со дня на день, – сказал Брэди; в его голосе, чуть излишне победительном для житейского разговора, слышался легкий призыв лондонского простонародного акцента. – Довольны путешествием?

– Да, но хочется уже домой.

– Нет-нет-нет, – запротестовал он. – Не торопитесь – нам с вами нужно поговорить. Я видел вашу «Папину дочку»; должен сказать, это – первый класс. Я смотрел ее в Париже и сразу же телеграфировал, чтобы узнать, ангажированы вы уже или нет.

– Простите, я только вчера...

– Черт возьми, какая картина!

Чувствуя, что улыбнуться, словно соглашаясь, было бы глупо, Розмэри нахмурила брови.

– Не слишком приятная участь – остаться навсегда героиней одной картины.

– Конечно, конечно, вы правы. Какие же у вас планы?

– Мама считала, что мне нужно отдохнуть. А по возвращении мы или возобновим контракт с «Феймос плейерс», или подпишем новый с «Ферст нэшнл».

– Кто это «мы»?

– Моя мать. Она ведет все мои дела. Без нее я бы не справилась.

Снова он оглядел ее с головы до ног, и что-то вдруг распахнулось в Розмэри навстречу этому взгляду. Не влечение, нет, ничего похожего на восторженное чувство, так властно захватившее ее утром на пляже. Просто электрический разряд. Этот человек желал ее, и девичья скованность воображения не помешала ей представить себе, что она могла бы уступить. Но через полчаса уже забыла бы о нем – как забывают о том, кого целуют перед кинокамерой.

– Вы где остановились? – спросил Брэди. – Ах да, у Госса. Ну что ж, на этот год и у меня все расписано, но мое предложение остается в силе. После Конни Толмедж в дни ее молодости вы – первая девушка, с которой мне так хочется сделать картину.

– Я тоже охотно поработала бы с вами. Приезжайте в Голливуд.

– Терпеть не могу эту клоаку. Мне и здесь хорошо. Подождите – сейчас закончу эпизод и покажу вам свои владения.

Он вернулся на площадку и вполголоса, неторопливо стал втолковывать что-то французскому актеру.

Прошло пять минут – Брэди все говорил, а француз слушал, переминаясь с ноги на ногу и время от времени кивая головой. Но вдруг Брэди прервал свою речь и что-то крикнул осветителям. Тотчас же зажужжали и вспыхнули юпитеры. Лос-Анджелес бился в уши Розмэри, громко звал к себе. И, повинувшись зову, она смело скользнула вновь в темноту закоулков тонкостенного города. Она знала, каким выйдет Брэди со съемки, и решила не продолжать сегодня разговор с ним. Все еще замороженная, она вышла из павильона и спустилась вниз. Теперь, после того как она подышала воздухом киностудии, Средиземноморье уже не казалось ей замкнутым и глухим. У прохожих на улицах были симпатичные лица, и по дороге на вокзал она купила себе новые сандалеты.

Мать осталась довольна тем, как Розмэри выполнила ее наставления; ей все время хотелось поставить дочь на рельсы и подтолкнуть. На вид миссис Спирс была цветущая женщина, но в ней накопилась усталость; бодрствовать у постели умирающего – утомительное занятие, а она прошла через это дважды.

VI

Чувствуя приятную истомику после розового вина, которое подавалось к завтраку, Николь Дайвер вышла в свой сад, разбитый на горном склоне. Она шла, высоко скрестив на груди руки, и от этого искусственная камелия, прикрепленная у плеча, почти касалась щеки. Сад с одной стороны примыкал к дому, органично сливаясь с ним; с двух сторон он граничил со старой деревней, с четвертой обрывался каменистым уступчатым спуском к морю.

Близ ограды, отделявшей сад от деревни, все было пыльным: завитки виноградных лоз, эвкалипты и лимонные деревья, даже тачка садовника – только что оставленная здесь, она уже вросла в землю, омертвела и припахивала гнилью. Но довольно было пройти несколько шагов и обогнуть клумбу с пионами, чтобы попасть словно в иной мир, зеленый, прохладный, где лепестки цветов и листья кудрявились от ласковой влажности воздуха; Николь всякий раз невольно изумлялась этому.

На шее у Николь был повязан лиловый шарф, и от него даже в обесцвечивающих солнечных лучах ложились лиловые отсветы на ее лицо и на землю, по которой она ступала. Лицо казалось замкнутым, почти суровым, только во взгляде зеленых глаз сквозило что-то растерянное, жалобное. Волосы, золотистые в юности, потемнели со временем, но сейчас, в свои двадцать четыре года, она была красивее, чем в восемнадцать, когда эти волосы своей яркостью затмевали все прочее в ней.

Дорожка с бордюром из белого камня, за которым зыбилося душистое марево, вывела ее на открытую площадку над морем. Там, у огромной сосны, самого большого и старого дерева в саду, был водружен рыночный зонт из Сиены и стояли стол и плетеные кресла, а по сторонам, в зелени смоковниц, притаились дремлющие днем фонари. Николь на мгновение остановилась и, рассеянно глядя на ирисы и настурции, разросшиеся у подножия сосны в полном беспорядке, точно кто-то наудачу бросил тут горсть семян, прислушалась к шуму, который вдруг донесся из дома, – детский плач и сердитые голоса; должно быть, какая-то баталия в детской. Когда шум затих, она пошла дальше, мимо калейдоскопа пионов, клубившихся розовыми облаками, черных и коричневых тюльпанов, хрупких роз с фиолетовыми стеблями, прозрачных, как сахарные цветы в витрине кондитерской, пока наконец это буйное скерцо красок, словно достигнув предельного напряжения, не оборвалось вдруг на полупhrазе – дальше влажные каменные ступени вели на другой уступ, футов на пять пониже.

Здесь бил родник, и дощатый сруб над ним даже в яркие солнечные дни оставался сырым и скользким. В склоне была вырублена лестничка, и по ней Николь поднялась в огород. Она шла быстрым шагом, она любила движение, хоть подчас казалась воплощением покоя, безмятежного и в то же время загадочного. Это происходило оттого, что у нее было мало слов и еще меньше веры в их силу, и в обществе она была молчалива, внося в светскую болтовню лишь свою необходимую долю, тщательно, чтобы не сказать скупую, отмеренную. Но когда малознакомые собеседники начинали испытывать неловкость, встречая столь скудный отклик, она вдруг подхватывала тему разговора и неслась во всю прыть, сама себе удивляясь, а потом так же внезапно останавливалась, почти оробело, словно охотничий пес, исполнивший все, что от него требовалось, и даже чуть больше.

Стоя среди мохнато просвеченной солнцем огородной зелени, Николь увидела Дика, направлявшегося в свой рабочий флигелек. Она подождала молча, пока он не скрылся из виду; потом между грядками будущих салатов пробралась к маленькому зверинцу, где ее нестройным и дерзким шумом встретили голуби, кролики и пестрый попугай. Отсюда дорожка снова шла под уклон и выводила на полукруглый выступ скалы, обнесенный невысоким парапетом. Николь облокотилась на парапет и глянула вниз; в семистах футах под ней плескалось Средиземное море.

Место, где она стояла, когда-то было частью горного селения Тарм. Усадьба Дайверов выросла из десятка крестьянских домишек, лепившихся по этим кручам, – пять были перестроены и превратились в виллу, пять снесли и на их месте разбили сад. Наружная ограда осталась нетронутой, и потому снизу, с проезжей дороги, усадьба была неразличима в общей лилово-серой массе домов и деревьев Тарма.

Николь постояла немного, глядя на море, где не к чему было приложить даже ее неутомимые руки. В это время Дик вышел из своего флигелька с подозрительной трубой, которую он тут же стал наводить в сторону Канна. Минуту спустя в поле его зрения попала Николь; он снова нырнул во флигель и тотчас же вернулся – на этот раз с мегафоном. У него было множество всяких технических игрушек.

– Николь! – прокричал он. – Я забыл тебя предупредить о своем последнем апостольском деянии: я пригласил миссис Абрамс – знаешь, ту седую полную даму.

– Так я и чувствовала. Просто безобразие.

Ее голос ясно прозвучал в тишине, словно бы в насмешку над мегафоном Дика, и потому она поторопилась крикнуть погромче:

– Ты меня слышишь?

– Слышу. – Он опустил было мегафон, но сейчас же снова упрямо поднес его к губам. – Я и еще кое-кого приглашу. Обоих молодых людей, например.

– Приглашай, пожалуйста, – миролюбиво согласилась она.

– Я хочу устроить по-настоящему скандальный вечер. Со ссорами, с обольщениями чужих жен, с дамскими обмороками в уборной и чтобы кто-то обиделся и ушел, не простившись. Вот будет потеха.

Он скрылся во флигельке, но Николь уже поняла, что на него нашло хорошо знакомое ей настроение – взрыв неумного веселья, заражавшего всех кругом и неизбежно сменявшегося под конец своеобразной депрессией, чего он никогда не показывал, но что она угадывала чутьем. Поводом к веселью служил порой пустяк, раздутый не по значению, и в такие периоды Дик был совершенно неотразим. От него исходила сила, заставлявшая людей подчиняться ему с нерассуждающим обожанием, и лишь какие-нибудь закоренелые брюзги и маловеры могли против этой силы устоять. Реакция наступала потом, вслед за трезвой оценкой допущенных сумасбродств и излишеств. Оглядываясь назад, на вдохновенный им карнавальным разгул, он ужасался, как ужасается иной полководец, взирая на кровавую резню, к которой сам дал сигнал, повинувшись безотчетному инстинкту.

Но те, кто хоть на короткий срок получал доступ в мир Дика Дайвера, уже не могли об этом забыть; им казалось, что он не случайно выделил их среди толпы, распознав их высокое предназначение, из года в год остававшееся погребенным под компромиссами житейской обыденщины. Он быстро завоевывал все сердца необычайной внимательностью, подкупающей любезностью обращения; причем делалось это так непосредственно и легко, что победа бывала одержана прежде, чем побежденные успевали в чем-либо разобраться. И тогда без предупреждения, не давая увянуть только распустившемуся цветку дружбы, Дик широко распахивал перед ними ворота в свой занимательный мир. Покуда они безоговорочно соблюдали правила игры, он, казалось, только о том и думал, чтобы им было хорошо и приятно; но стоило им допустить хоть тень сомнения в незыблемости этих правил, он словно испарялся у них на глазах, не оставив и памяти о своих речах и поступках.

В пятницу, ровно в половине девятого, Дик вышел встречать первых гостей, церемонно и выразительно неся пиджак на руке, точно тореадор свой плащ. Поздоровавшись с Розмэри и миссис Спирс, он тактично выждал, когда они сами начнут разговор, словно в расчете на то, что звук собственного голоса поможет им освоиться в незнакомой обстановке.

Слегка возбужденные подъемом в Тарм и свежестью горного воздуха, Розмэри и ее мать с любопытством оглядывались по сторонам. Подобно тому как достоинства людей незауряд-

ных сказываются порой даже в неожиданных обмолвках, тщательно продуманное совершенство виллы «Диана» проступало даже сквозь досадные мелочи вроде появления горничной без надобности или звука некстати хлопнувшей пробки. Первые гости, вестники начинающегося праздника, еще застали конец домашних будней, воплощенный перед ними зрелищем маленьких Дайверов, под присмотром гувернантки доедавших на веранде свой ужин.

– Какой чудесный сад! – воскликнула миссис Спирс.

– Это сад Николь, – сказал Дик. – Она ему покоя не дает, без конца допекает заботами о здоровье растений. Я не удивлюсь, если в один прекрасный день она сама заболеет какой-нибудь мучнистой росой, фитофторой или септорией. – Повернувшись к Розмэри, он строго погрозил ей пальцем и сказал тоном шутки, под которой сквозила, казалось, отеческая заинтересованность: – Я решил принять меры, чтобы уберечь ваш рассудок, – подарю вам шляпу для пляжа.

Он повел гостей из сада на веранду, где занялся приготовлением коктейлей. Приехал Эрл Брэди и был очень удивлен при виде Розмэри. Он здесь держался проще и естественней, будто оставил свою чудаковатую манеру на территории студии, но Розмэри мгновенно сравнила его с Диком Дайвером, и сравнение заставило ее резко качнуться в сторону последнего. Рядом с Диком Эрл Брэди казался грубоватым, даже вульгарноватым; и все же ее опять словно током пронизало от его близости.

С фамильярностью старого знакомого он обратился к детям, только что вставшим из-за стола:

– Спел бы ты нам что-нибудь, Ланье. Спой нам вместе с Топси хорошую песенку.

– Какую же песенку вам спеть? – спросил мальчик, забавно растягивая слова, как все американские дети, выросшие во Франции.

– Ну вот хотя бы «Mon ami Pierrot».

Без всякого жеманства брат и сестра стали рядом, и два пискливо-звонких голоска понеслись в тишине вечера:

Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu³.

Песенка кончилась; разрумяненные закатными лучами, дети с безмятежной улыбкой принимали похвалы и одобрения. Розмэри вилла «Диана» казалась сейчас центром вселенной. На таких подмостках не может не разыграться что-то необыкновенное. Она встрепенулась, услышав, как звякнула калитка, пропуская новых гостей, – это ввалились скопом супруги Маккиско, миссис Абрамс, мистер Дамфри и мистер Кампион и сразу же устремились к веранде.

Розмэри полоснуло досадой – она торопливо глянула на Дика, словно спрашивая, что означает столь странное смещение. Но в его поведении не заметно было ничего необычного. Он приветствовал гостей с горделивым достоинством, всем своим видом показывая, что ценит заложенные в них безграничные и еще не раскрытые возможности. И так сильна была ее вера в

³ При лунном свете, Мой друг Пьеро, Прошу, ссуди мне Твое перо. Погасла свечка, И нет огня, Я жду у двери, Впусти меня (фр.).

него, что минуту спустя она уже принимала как должное присутствие Маккиско с компанией, и ей даже казалось, что она с самого начала ожидала их здесь увидеть.

– Мы с вами встречались в Париже, – сказал Маккиско Эйбу Норту, который вместе с женой явился вслед за ними. – Даже два раза встречались.

– Как же, как же, конечно, – подтвердил Эйб.

– А скажите, где это было? – спросил Маккиско, вместо того чтобы благоразумно поставить точку.

– Да, кажется... – Но тут игра надоела Эйбу. – Не помню где.

Этот обмен репликами заполнил возникшую паузу; инстинкт подсказывал Розмэри, что теперь положение требует чьего-то тактичного вмешательства, но Дик не делал никаких попыток изменять порядок, в котором расположилось все общество с приходом последних гостей, или хотя бы сбить спесь со снисходительно улыбающейся миссис Маккиско. Он не старался развязать затянувшийся узел отношений, потому что не придавал этому сейчас значения и знал, что он развяжется сам собой. Свои силы он приберегал для более значительного момента, когда можно будет, явив себя гостям с новой стороны, дать им насладиться оказанным приемом.

Розмэри стояла рядом с Томми Барбаном, который был в необычно язвительном настроении, – казалось, у него есть на то особые причины. Он сообщил Розмэри, что завтра уезжает.

– Собрались на родину?

– На родину? У меня нет родины. Я собрался на войну.

– На какую войну?

– На какую-нибудь. Я давно не читал газет, но где-то же наверняка идет война – не бывает, чтобы нигде не шла.

– Разве вам все равно, за что сражаться?

– Абсолютно – лишь бы со мной были достаточно обходительны. Когда у меня начинается брожение в крови, я еду к Дайверам, потому что знаю: здесь мне очень скоро захочется на войну.

Розмэри широко раскрыла глаза.

– Но ведь вы друг Дайверов, – сказала она.

– Конечно, особенно *ее* друг, но около них мне всегда хочется на войну.

Она попыталась понять его, но не смогла. Ей около Дайверов всегда хотелось одного: никогда с ними не расставаться.

– Вы наполовину американец, – сказала она, как будто в этом заключалось объяснение.

– Да, но наполовину и француз, а воспитывался я в Англии, и, с тех пор как мне исполнилось восемнадцать лет, я успел послужить в армиях восьми государств. Но я бы не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто я не люблю Дайверов, – я их очень люблю, особенно Николь.

– Их нельзя не любить, – просто сказала она.

Ее вдруг словно оттолкнуло от этого человека. Какой-то неприятный обертон послышался ей в его речи, и она поспешила заслонить чувство обожания, с которым относилась к Дайверам, от его кощунственного цинизма. Она порадовалась, что не будет сидеть рядом с ним за обедом; когда она вместе с другими шла к столу, накрытому в саду, в ушах ее все еще звучало это «особенно *ее* друг».

По дороге она на какой-то миг оказалась рядом с Диком Дайвером. Перед его несокрушимым, ясным спокойствием все ее сомнения растворились в уверенности, что для него никаких сомнений нет. Весь последний год, а это было все равно что всю жизнь, она располагала деньгами, и уже пользовалась кой-какой славой, и могла общаться со знаменитостями, которые, впрочем, казались ей лишь сильно увеличенными копиями соседей докторской вдовы и

ее дочери по парижскому *hôtel-pension*⁴. Розмэри была романтична от природы, но в ее жизни редко находилось место для романтики. Миссис Спирс, твердо решив, что Розмэри должна сделать карьеру, не позволила бы ей размениваться на мишурные соблазны, навязывавшиеся со всех сторон; да и Розмэри сама уже переросла эту стадию – она работала в мире иллюзий, но не жила в нем. И когда на лице матери она прочитала одобрение Дику Дайверу, это означало, что тут можно не опасаться подделок, это означало разрешение не оглядываясь идти вперед.

– Я все время наблюдал за вами, – сказал Дик, и она знала, что это правда. – Мы вас очень полюбили.

– А я влюбилась в вас с первого раза, как только увидела, – тихо произнесла она.

Он сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей, как обыкновенную любезность.

– С новыми друзьями, – сказал он, словно изрекая важную истину, – часто чувствуешь себя лучше, чем со старыми.

Это замечание, смысл которого не совсем до нее дошел, было сделано в последнюю минуту – гости уже рассаживались вокруг стола, отвоеванного у синеватых сумерек медленно разгоравшимися фонарями. Что-то радостно дрогнуло у Розмэри внутри, когда она увидела, что Дик усадил ее мать по правую руку от себя; сама она оказалась между Брэди и Луисом Кампионом.

В избытке чувств она повернулась к Брэди, готовая ему довериться, но холодная искра, сверкнувшая в его глазах при первом упоминании о Дике, ясно показала, что роль исповедника не по нем. В свою очередь, она проявила непреклонность, когда он попытался завладеть ее рукой, и все время обеда они проговорили на профессиональные темы, вернее, он говорил на профессиональные темы, а она слушала с вежливым вниманием, хотя мысли ее так явно витали где-то далеко, что едва ли это могло от него укрыться. Время от времени случайно дошедшая фраза, дополненная тем, что отложилось в подсознании, помогала ей следить за сутью разговора; так иногда лишь с середины прислушаешься к бою часов, но ритм, застрявший в ушах, позволяет сосчитать пропущенные удары.

⁴ Отель-пансиону (*фр.*).

VII

Воспользовавшись паузой в разговоре, Розмэри перевела взгляд туда, где между Томми Барбаном и Эйбом Нортотом сидела Николь и ее каштановые, как шерсть чау-чау, волосы мерцали и пенились в свете ламп и фонарей. Розмэри прислушалась, завороченная звонким голосом, ронявшим нечастые короткие фразы.

– Бедняга! Что вдруг за фантазия – распилить его пополам?

– Просто мне захотелось посмотреть, что у официанта внутри. Разве вам не интересно, что у официанта внутри?

– Старые меню, – смеясь, предположила Николь. – Черепки битой посуды, чаевые, огрызки карандаша.

– Скорей всего, но это требует научного доказательства. И потом, пила ведь была не простая, а музыкальная, что значительно облагородило бы все дело.

– А вы на ней собирались играть во время операции? – осведомился Томми.

– До этого у нас не дошло. Крик помешал. Мы испугались, как бы он не надорвался от крика.

– Все-таки странно, – сказала Николь. – Музыкант хочет употребить инструмент другого музыканта на то, чтобы...

Обед длился уже полчаса, и за это время произошла ощутимая перемена: каждый сумел что-то отбросить – заботу, тревогу, подозрение – и теперь был только дайверовским гостем, самим собой, но в лучшем своем виде. Равнодушная или скучная мина могла быть истолкована как желание обидеть хозяев, и все наперебой старались, чтобы этого не произошло, а Розмэри, видя их старания, испытывала почти нежность ко всем, исключая Маккиско, который и тут ухитрился обособиться от остальных. Впрочем, не столько со зла, сколько из-за того, что решил закрепить вином приподнятое настроение, владевшее им в начале вечера. Своему соседу справа, Эрлу Брэди, он адресовал несколько уничтожающих замечаний о кино, соседку слева, миссис Абрамс, вообще не замечал; под конец он откинулся на спинку стула и уставился на Дика Дайвера с выражением сокрушительной иронии, но время от времени сам портил эффект попытками втянуть Дика в беседу по диагонали через стол.

– Вы, кажется, приятель Денби Ван Бюрена? – спрашивал он.

– Вроде бы не знаю такого.

– А я всегда считал, что вы его приятель, – настаивал он с раздражением.

Вслед за темой о мистере Ван Бюрена, которая засохла на корню, Маккиско испробовал еще несколько, столь же неудачных, но всякий раз его словно парализовала предупредительная вежливость Дика, и прерванный им разговор после короткой паузы шел дальше без него. Пробовал он вторгаться и в другие разговоры, но это выходило так, будто пожимаешь пустую перчатку, и в конце концов он умолк с видом взрослого, вынужденного мириться с детским обществом, и сосредоточил свое внимание на шампанском.

Розмэри время от времени обводила взглядом всех сидящих за столом, так заботливо следя за их настроением, словно готовилась им в мачехи. Свет лампы, искусно скрытой в букете ярких гвоздик, падал на лицо миссис Абрамс, в меру подрумяненное бокалом «Вдовы Клико», пышущее здоровьем, благодушием, детской жизнерадостностью; ее соседом был мистер Ройял Дамфри, девичья миловидность которого не так бросалась в глаза в праздничной атмосфере вечера. Дальше сидела Вайолет Маккиско; винные пары выманили наружу все приятное, что ей дала природа, и она перестала насильно убеждать себя в двусмысленности своего положения – положения жены карьериста, не сделавшего карьеры.

Потом – Дик, навьюченный грузом скуки, от которой он избавил других, целиком растворившийся в своих хозяйских заботах.

Потом ее мать, безупречная, как всегда.

Потом Барбан, занимавший ее мать беседой, светская непринужденность которой вернула ему расположение Розмэри. Потом Николь. Розмэри вдруг как-то по-новому увидела ее и подумала, что никогда не встречала никого красивее. Ее лицо – лик северной мадонны – сияло в розовом свете спрятанных среди листвы фонарей, за снежной завесой мошкеры, кружившейся в освещенном пространстве. Она сидела тише тихого, слушая Эйба Норта, который толковал ей про свой моральный кодекс. «Конечно, у меня есть моральный кодекс, – настаивал он. – Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, просто сам не свой становлюсь». От Эрла Брэди Розмэри знала, что Эйб – композитор, который очень рано и очень блестяще начал, но вот уже семь лет ничего не пишет.

Дальше сидел Кампион; ему каким-то образом удалось обуздать свои причудливые замашки и даже проявлять в общении с окружающими почти матерински бескорыстный интерес. Потом Мэри Норт, которая так весело сверкала в улыбке белыми зеркальцами зубов, что, глядя на них, трудно было не улыбнуться в ответ, – казалось, во всех порах кожи вокруг ее полуоткрытого рта разлито удовольствие.

И, наконец, Брэди, в чьей свободной манере держаться все больше чувствовалась обходительность светского человека, а не только настойчивое и грубое подчеркивание собственного душевного здоровья и умения сохранить его ценой равнодушия к чужим слабостям.

Для Розмэри, своей доверчивой непосредственностью похожей на маленькую героиню одного из опусов миссис Бернет, этот вечер был как возвращение домой, как отдых после солнечных шуток фронта. В темноте сада загорались светлячки, где-то далеко внизу лаяла собака. Чудилось, что стол немного приподнялся над землей, как танцплощадка с особым механизмом, и у тех, кто сидел за ним, возникало такое чувство, будто они одни среди мрака вселенной и пища, которую они едят, – единственная оставшаяся в ней пища, а тепло, согревающее их, – единственное ее тепло. Сдавленно хохотнула миссис Маккиско, и, как будто это был знак, что отрыв от земли совершился, Дайверы вдруг с удвоенной лаской заулыбались своим гостям, – и так уже всячески убаженным хозяйской любезностью, тонкой хозяйской лестью, возвышавшей их в собственных глазах, – словно желали вознаградить их за все поневоле оставленное на земле. Какой-то миг они оба, казалось, разговаривали с каждым отдельно, спеша уверить его в своей дружбе, своей симпатии. В этот миг повернутые к ним лица походили на лица нищенков на рождественской елке. И вдруг все оборвалось – обед был окончен, смелый порыв, вознесший гостей из простого застольного веселья в разреженную атмосферу высоких чувств, миновал, прежде чем они дерзнули вдохнуть эту атмосферу, прежде чем осознали, что находятся в ней.

Но магия теплой южной ночи, таившаяся в мягкой поступи тьмы, в призрачном плеске далекого прибоя, не развеялась, она перешла в Дайверов, стала частью их существа. Розмэри услышала, как Николь уговаривает ее мать принять в подарок желтую атласную сумочку, которую та похвалила. «Вещи должны принадлежать тем, кому они нравятся», – смеялась она, засовывая в сумочку разные мелочи желтого цвета, попадавшие на глаза, – карандашик, футляр с губной помадой, маленькую записную книжку – «потому что это все одно к одному».

Николь исчезла, и тут только Розмэри заметила, что Дика тоже нет рядом; гости рассыпались по саду, некоторые потянулись к веранде.

– Вы не хотите пойти в уборную? – спросила, подойдя, миссис Маккиско.

У Розмэри такого желания не было.

– А я пойду, – объявила миссис Маккиско. – Мне нужно в уборную. – И твердой походкой женщины, презирающей условности, открыто направилась к дому, провожаемая неодобрительным взглядом Розмэри.

Эрл Брэди предложил спуститься вниз, к обрыву над морем, но Розмэри решила, что пора ей урвать немножко Дика Дайвера для себя, и потому осталась ждать его возвращения, от нечего делать слушая препирательства Маккиско с Барбаном.

– С какой стати вам воевать против Советов? – спрашивал Маккиско. – Я считаю, что они осуществляют величайший в истории человечества эксперимент. А Рифская республика⁵? По-моему, если уж воевать, так за тех, на чьей стороне правда.

– А как это определить? – сухо осведомился Барбан.

– Ну – всякому разумному человеку ясно.

– Вы что, коммунист?

– Я социалист, – сказал Маккиско. – Я сочувствую России.

– А вот я – солдат, – возразил Барбан весело. – Моя профессия убивать людей. Я дрался с рифами, потому что я европеец, и я дерусь с коммунистами, потому что они хотят отнять у меня мою собственность.

– Ну знаете ли...

Маккиско оглянулся в поисках союзников, которые помогли бы ему высмеять ограниченность Барбана, но никого не обнаружил. Он не понимал того, с чем столкнулся в Барбане, ни скудости его запаса идей, ни сложности его происхождения и воспитания. Что такое идеи, Маккиско знал и в процессе своего умственного развития учился распознавать и раскладывать по полочкам все большее их число, но Барбан поставил его в тупик; у этого «чурбана», как он его мысленно переименовал, он не мог обнаружить ни одной знакомой идеи, но в то же время не мог и почувствовать превосходства над ним, а потому поспешил ухватиться за спасительный вывод: Барбан – продукт отживающего мира, значит, он ничего не стоит. Из соприкосновения с теми, кто составляет своего рода аристократию Америки, Маккиско вынес вполне определенное впечатление; ему запомнился их неуклюжий и сомнительный снобизм, их пристрастие к невежеству и бравирование грубостью – позаимствованные у англичан, но без учета тех факторов, которые придают смысл английскому филистерству и английской грубости, и перенесенные в страну, где даже минимальные познания и минимальная отесанность больше, чем где-либо, в цене – словом, все то, апогеем чего явился так называемый «гарвардский стиль» девятисотых годов. За одного из подобных аристократов он принял Барбана, а хмель вышиб из него привычный страх перед людьми этого типа – и это неминуемо должно было кончиться плохо.

Розмэри сидела внешне спокойная (хотя почему-то ей было стыдно за Маккиско), но внутри ее жгло нетерпение – когда же наконец вернется Дик Дайвер? С ее места за опустевшим столом, где, кроме нее, остались только Барбан, Эйб и Маккиско, видна была дорожка, обсаженная миртом и папоротником, и в конце дорожки каменная терраса. Залюбовавшись профилем матери, четко вырисовывавшимся на фоне освещенной двери в дом, Розмэри хотела было встать и пойти туда, но в эту минуту, вся запыхавшись, прибежала миссис Маккиско.

Она источала возбуждение. Уже по тому, как она молча выдвинула стул и села, округлив глаза, беззвучно шевеля губами, ясно было – это человек, до краев переполненный новостями, и немудрено, что с вопросом мужа: «Что случилось, Вайолет?» – все глаза устремились на нее.

– Милые мои... – начала она, но тут же, прервав себя, обратилась уже к одной Розмэри: – Милая моя... нет, не могу. Не в силах говорить.

– Успокойтесь, вы среди друзей, – сказал Эйб.

– Милые мои, там наверху я застала такую сцену...

Она запнулась и с таинственным видом замотала головой – как раз вовремя, потому что Барбан встал и сказал ей вежливо, но твердо:

⁵ *Рифская республика* – территория в горных районах Испанского Марокко, которую вплоть до 1926 г. удерживали независимые берберские племена, отражая натиск Северо-Африканского корпуса, состоявшего из испанских и французских войск.

– Я бы вам не советовал делать замечания о том, что происходит в этом доме.

VIII

Вайолет натужно, с шумом перевела дух и постаралась придать своему лицу более спокойное выражение.

Вернулся наконец Дик; с безошибочным чутьем он вклинился между Барбаном и супругами Маккиско и завел с Маккиско литературный разговор с позиций любознательного невежды, чем подарил собеседнику миг вожделенного чувства превосходства. Остальных он попросил перенести лампы в дом – кто ж откажется от удовольствия шествовать с лампой в руках по темному саду, да еще сознавая, что делает дело? Розмэри тоже несла одну из ламп, терпеливо отвечая Ройялу Дамфри на бесконечные расспросы о Голливуде.

«Теперь-то уж я заслужила право побыть с ним наедине, – думала она. – И он сам не может не понимать этого, ведь он живет по тем же законам, по которым мама учила жить меня».

Розмэри не ошиблась – скоро он нашел случай ускользнуть с ней вдвоем от общества на террасе, и сразу же их повлекло вниз, к обрыву над морем, куда вели не столько ступени, сколько крутые и неровные уступы, и Розмэри одолевала их то с усилием, то словно летя. Стоя у парапета, они смотрели на Средиземное море. Запоздалый экскурсионный пароходик с острова Леранс парил в заливе, как воздушный шар на празднике Четвертого июля, оторвавшийся и улетевший в облака. Он парил среди чернеющих островков, мягко расталкивая темную воду.

– Мне понятно, отчего вы всегда с таким чувством говорите о своей матери, – сказал Дик. – Ее отношение к вам просто удивительно. В Америке редко встретишь таких умных матерей.

– Моя мама – совершенство, – благоговейно произнесла Розмэри.

– У меня тут явилась одна мысль, которую я ей высказал. Как я понял, еще не решено, сколько вы пробудете во Франции, – это зависит от вас.

«Это зависит от вас!» – едва не выкрикнула Розмэри.

– Так вот – поскольку здесь все уже кончено...

– Все кончено? – переспросила Розмэри.

– Я хочу сказать – с Тармом уже кончено на этот год. На прошлой неделе уехала сестра Николь, завтра уезжает Томми Барбан, в понедельник – Эйб и Мэри Норт. Может быть, нас ждет еще много приятного этим летом, но уже не здесь. Я не люблю сентиментального угасания – умирать, так с музыкой, для того я и затеял этот обед. А мысль моя вот какая: мы с Николь едем в Париж проводить Эйба Норты, он возвращается в Америку, так не хотите ли и вы поехать с нами?

– А что сказала мама?

– Что мысль отличная. Что самой ей ехать не хочется. И что она готова отпустить вас одну.

– Я не была в Париже с тех пор, как стала взрослой, – сказала Розмэри. – Побывать там с вами – большая радость для меня.

– Спасибо на добром слове. – Показалось ли ей, что в его голосе вдруг зазвенел металл? – Мы все заметили вас, как только вы появились на пляже. Вы так полны жизни – Николь сразу сказала, что вы, наверно, актриса. Такое не растрачивается на одного человека или хотя бы на нескольких.

Чутье подсказало ей: он потихоньку поворачивает ее в сторону Николь; и она привела в готовность тормоза, не собираясь поддаваться.

– Мне тоже сразу захотелось познакомиться с вашей компанией – особенно с вами. Я же вам говорила, что влюбилась в вас с первого взгляда.

Ход был рассчитан правильно. Но беспредельность пространства между небом и морем уже охладила Дика, погасила порыв, заставивший его увлечь ее сюда, помогла расслышать

чрезмерную откровенность обращенного к нему зова, почуять опасность, скрытую в этой сцене без репетиций и без заученных слов.

Теперь нужно было как-то добиться, чтобы она сама пожелала вернуться в дом, но это было непросто, и, кроме того, ему не хотелось отказываться от нее. Он добродушно пошутил – холодком повеяло на нее от этой шутки:

– Вы сами не знаете, чего вам хочется. Спросите у мамы, она вам скажет.

Ее оглушило, как от удара. Она дотронулась до его рукава, гладкая материя скользнула под пальцами, точно ткань сутаны. Почти поверженная ниц, она сделала еще один выстрел:

– Для меня вы самый замечательный человек на свете – после мамы.

– Вы смотрите сквозь романтические очки.

Он засмеялся, и этот смех погнал их наверх к террасе, где он с рук на руки передал ее Николь...

Уже настала пора прощаться. Дайверы позаботились о том, чтобы все гости были доставлены домой без хлопот. В большой дайверовской «Изотте» разместились Томми Барбан со своим багажом – решено было, что он переночует в отеле, чтобы успеть к утреннему поезду, – миссис Абрамс, чета Маккиско и Кампион; Эрл Брэди, возвращавшийся в Монте-Карло, взялся подвезти по дороге Розмэри с матерью; с ними сел также Ройял Дамфри, которому не хватило места в дайверовском лимузине. В саду над столом, где недавно обедали, еще горели фонари; Дайверы, как радушные хозяева, стояли у ворот – Николь цвела улыбкой, смягчавшей ночную тень. Дик каждому из гостей отдельно желал доброй ночи. Боль пронзила Розмэри от того, что вот сейчас она уедет, а они здесь останутся вдвоем. И снова она подумала: что же такое видела миссис Маккиско?

IX

Ночь была черная, но прозрачная, точно в сетке подвешенная к одинокой тусклой звезде. Вязкая густота воздуха приглушала клаксон шедшей впереди «Изотты». Шофер Брэди вел машину не торопясь; задние фары «Изотты» иногда лишь показывались на повороте дороги, а потом и вовсе исчезли из виду. Минут через десять, однако, «Изотта» вдруг возникла впереди, неподвижно стоящая у обочины. Шофер Брэди притормозил, но в ту же минуту она опять тронулась, однако так медленно, что они легко обогнали ее. При этом они слышали какой-то шум внутри уважаемого лимузина и видели, что шофер лукаво ухмыляется за рулем. Но они пронесли мимо, набирая скорость на пустынной дороге, где ночь то подступала с обеих сторон валами черноты, то тянулась сквозистой завесой; и, наконец, несколько раз стремительно нырнув под уклон, они очутились перед темной громадой отеля Госсса.

Часа три Розмэри удалось подремать, а потом она долго лежала с открытыми глазами, словно паря в пустоте. В интимном сумраке длящейся ночи воображение рисовало ей новые и новые повороты событий, неизменно приводившие к поцелую, но поцелуй был бесплотный, как в кино. Потом, ворочаясь с боку на бок в первом своем знакомстве с бессонницей, она попыталась думать о том, что ее занимало, так, как об этом думала бы ее мать. На помощь пришли обрывки давних разговоров, которые отложились где-то в подсознании и теперь всплывали наверх, возмещая отсутствие жизненного опыта.

Розмэри с детства была приучена к мысли о труде. Схоронив двух мужей, миссис Спирс свои скромные вдовьи достатки потратила на воспитание дочери, и когда та к шестнадцати годам расцвела во всей своей пышноволосяй красе, повезла ее в Экс-ле-Бен и, не дожидаясь приглашения, заставила постучаться к известному американскому кинопродюсеру, лечившемуся местными водами. Когда продюсер уехал в Нью-Йорк, уехали и мать с дочерью. Так Розмэри выдержала свой вступительный экзамен. Потом пришел успех, заложивший основу сравнительно обеспеченного будущего, и это дало право миссис Спирс сегодня без слов сказать ей примерно следующее:

«Тебя готовили не к замужеству – тебя готовили прежде всего к труду. Вот теперь тебе попался первый крепкий орешек, и такой, который стоило бы расколоть. Что же, попробуй – выйдет, не выйдет, в убытке ты не останешься. Приобретешь опыт, быть может, ценой страдания, своего или чужого, но сломить тебя это не сломит. Ты хоть и девушка, но стоишь в жизни на собственных ногах, и в этом смысле все равно что мужчина».

Розмэри не привыкла размышлять – разве что о материнских совершенствах, – но в эту ночь отпала наконец пуповина, связывавшая ее с матерью, и немудрено, что ей не спалось. Как только забрезживший рассвет придвинул небо вплотную к высоким окнам, она встала и вышла на веранду, босыми ступнями ощущая тепло не остывшего за ночь камня. Воздух был полон таинственных звуков; какая-то настырная птица злорадно ликовала в листве над тенистым кортом, на задворках отеля чьи-то шаги протопали по убитому грунту, проскрипели по щебенке, простучали по бетонным ступеням; потом все повторилось в обратном порядке и стихло вдали. Над чернильной гладью залива нависла тень высокой горы, где-то там жили Дайверы. Ей почудилось – вот они стоят рядом, напевая тихую песню, неуловимую, как дым, как отголосок древнего гимна, сложенного неведомо где, неведомо кем. Их дети спят, их ворота заперты на ночь.

Она вернулась к себе, надела сандалеты и легкое платье, снова вышла и направилась к главному крыльцу – чуть ли не бегом, потому что на ту же веранду выходили двери других номеров, откуда струился сон. На широкой белой парадной лестнице чернела какая-то фигура; Розмэри остановилась было в испуге, но в следующее мгновение узнала Луиса Кампиона – он сидел на ступеньке и плакал.

Он плакал тихо, но горестно, и у него по-женски тряслись от рыданий спина и плечи. Все это в точности напоминало сцену из фильма, в котором Розмэри снималась прошлым летом, и, невольно повторяя свою роль, она подошла и дотронулась до его плеча. Он взвизгнул от неожиданности, не сразу разобрав, кто перед ним.

– Что с вами? – Ее глаза приходились на уровне его глаз, и в них было участие, а не холодное любопытство. – Не могу ли я чем-нибудь помочь?

– Мне никто не может помочь. Я сам виноват во всем. Знал ведь. Всякий раз одно и то же.

– Но, может быть, вы мне скажете, что случилось?

Он посмотрел на нее, как бы взвешивая, стоит ли.

– Нет, – решил он конце в концов. – Вы слишком молоды и не знаете, что приходится претерпевать тому, кто любит. Муки ада. Когда-нибудь и вы полюбите, но чем позже, тем лучше. Со мной это не первый раз, но такого еще не бывало. Казалось, все так хорошо, и вдруг...

Его лицо было на редкость противным в прибывающем утреннем свете. Розмэри не дрогнула, не поморщилась, ничем не выдала внезапно охватившего ее отвращения, но у Кампиона было обостренное чутье, и он поспешил переменить тему:

– Эйб Норт где-то тут поблизости.

– Что вы, он ведь живет у Дайверов.

– Да, но он приехал – вы разве ничего не знаете?

В третьем этаже со стуком распахнулось окно, и голос, явно принадлежавший англичанину, прошепелявил:

– Нельзя ли потише!

Розмэри и Луис Кампион устыженно спустились вниз и присели на скамью у дорожки, ведущей к пляжу.

– Так вы совсем, совсем ничего не знаете? Дорогая моя, произошла невероятная вещь... – Он даже повеселел, воодушевленный выпавшей ему ролью вестника. – И главное, все так скоропалительно и непривычно для меня – я, знаете, стараюсь держаться подальше от вспыльчивых людей – они меня нервируют, я просто заболеваю, и надолго.

В его взгляде светилось торжество. Она явно не понимала, о чем идет речь.

– Дорогая моя, – провозгласил он, положив руку ей на колено и при этом весь подавшись вперед в знак того, что это не был случайный жест. Он теперь чувствовал себя хозяином положения. – Будет дуэль.

– Что-о?

– Дуэль на... пока еще неизвестно на чем.

– Но у кого дуэль, с кем?

– Сейчас я вам все расскажу. – Он шумно перевел дух, потом изрек, будто констатируя нечто, не делающее ей чести, чем он, однако же, великодушно пренебрег: – Вы ведь ехали в другой машине. Что ж, ваше счастье – мне это будет стоить года два жизни, не меньше. И все так скоропалительно произошло...

– Да что произошло?

– Не знаю даже, с чего все началось. Она вдруг завела разговор...

– Кто – она?

– Вайолет Маккиско. – Он понизил голос, как будто под скамейкой кто-то сидел. – Только ни слова про Дайверов, а то он грозил бог весть чем каждому, кто хотя бы заикнется о них.

– Кто грозил?

– Томми Барбан. Так что вы не проговоритесь, что слышали что-нибудь от меня. И все равно, мы так и не узнали, что хотела рассказать Вайолет, потому что он все время ее перебивал, а потом муж вмешался, и вот теперь будет дуэль. Сегодня в пять утра – ровно через час. – Он тяжело вздохнул, вспомнив собственное горе. – Ах, дорогая моя, лучше бы это случилось

со мной. Пусть бы *меня* убили на дуэли, мне теперь все равно не для чего жить. – Он всхлипнул и скорбно закачался из стороны в сторону.

Опять стукнуло окно наверху, и тот же голос сказал:

– Да что же это за безобразие, в конце концов!

В эту минуту из отеля вышел Эйб Норт, как-то неуверенно глянул туда, сюда и увидел Розмэри и Кампиона, чьи фигуры отчетливо выделялись на фоне уже совсем посветлевшего над морем неба. Он хотел было заговорить, но Розмэри предостерегающе затрясла головой, и они перешли на другую скамейку, подальше. Розмэри заметила, что Эйб чуточку пьян.

– А вы-то чего не спите? – спросил он ее.

– Я только что вышла. – Она чуть было не рассмеялась, но вовремя вспомнила грозного британца наверху.

– Привороженная руладой соловья? – продекламировал Эйб и сам же подтвердил: – Вот именно, руладой соловья. Вам этот деятель рукодельного кружка рассказал, какая история вышла?

Кампион возразил с достоинством:

– Я знаю только то, что слышал собственными ушами.

Он встал и быстрым шагом пошел прочь. Эйб сел возле Розмэри.

– Зачем вы с ним так резко?

– Разве резко? – удивился Эйб. – Хнычет тут все утро, надоел.

– Может быть, у него какая-то беда.

– Может быть.

– А что за разговор о дуэли? У кого, с кем? Когда мы поравнялись на дороге с их машиной, мне показалось, будто там происходит что-то странное. Но неужели это правда?

– Вообще это, конечно, бред собачий, но тем не менее правда.

Х

– Ссора, оказывается, началась перед тем, как машина Эрла Брэди обогнала дайверовский лимузин, стоявший у обочины... – Ровный голос Эйба вливался в гулкую предутреннюю тишину. – Вайолет Маккиско стала рассказывать миссис Абрамс что-то про Дайверов, какое-то она там сделала наверху в доме открытие, которое прямо-таки ошеломило ее. А Томми, он за Дайверов готов любому перегрызть горло. Правда, эта Маккиско довольно противная особа, но дело не в этом, а в том, что чета Дайверов, именно *чета* Дайверов, занимает в жизни своих друзей особенное место, многие даже сами не вполне это сознают. Конечно, при таком отношении что-то теряется, иногда чувствуешь себя с ними так, будто сидишь в театре и смотришь на прелестную балетную пару, а балет – это зрелище, которое восхищает, но не волнует; но на самом деле все тут гораздо сложнее – в двух словах не объяснишь. Так или иначе Томми – один из тех, кто через Дика стал близок и к Николь, и чуть только Маккиско дала языку волю, он ее сразу осадил:

«Миссис Маккиско, будьте добры прекратить этот разговор».

«Я не с вами разговариваю», – возразила она.

«Все равно, я вас прошу Дайверов не касаться».

«А что, это такая святыня?»

«Оставьте Дайверов в покое, миссис Маккиско. Найдите себе другую тему».

Томми сидел на одном из откидных сидений. На другом сидел Кампион, от него я и узнал обо всем.

«А вы мне не указывайте», – озлилась Вайолет.

Вы знаете, как это бывает, когда люди ночью в машине возвращаются из гостей – кто-то переговаривается вполголоса, кто-то задумался о своем, кто-то дремлет от усталости. Вот и здесь – все только тогда опомнились, когда машина остановилась и Барбан закричал громовым голосом кавалерийского командира:

«Выходите из машины! До отеля не больше мили, дойдете пешком, а не дойдете – дотащат. Я больше не желаю слышать ни вашего голоса, ни голоса вашей жены!»

«Это насилие! – закричал Маккиско. – Вы пользуетесь тем, что физически я слабее вас. Но вам меня не запугать. Жаль, у нас не существует дуэльного кодекса».

Он забыл, что Томми – француз, в этом была его ошибка. Томми размахнулся и дал ему пощечину – тут шофер решил, что нужно ехать дальше. В эту минуту ваша машина и поравнялась с ними. Женщины, конечно, подняли визг. Вся эта кутерьма продолжалась до самого отеля.

Томми позвонил знакомому в Канн и попросил быть его секундантом. Маккиско не захотел брать в секунданты Кампиона – который, впрочем, к этому и не рвался, – а позвонил мне и, не вдаваясь в подробности, просил немедленно приехать сюда. Вайолет Маккиско сделалось дурно, миссис Абрамс увела ее к себе, напоила каплями, та благополучно уснула на ее кровати. Приехав и узнав, в чем дело, я попробовал урезонить Томми, но он требовал, чтобы Маккиско принес ему извинения, а Маккиско расхрабрился и извиниться не пожелал.

Выслушав Эйба, Розмэри с тревогой спросила:

– А Дайверы знают, что все вышло из-за них?

– Нет – и не узнают никогда. Этот идиот Кампион совершенно напрасно и вас посвятил во все, но этого уже не исправишь. А шоферу я сказал: если он вздумает болтать, я пушу в ход свою знаменитую музыкальную пилу. Но Томми все равно не успокоится – ему нужна настоящая война, а не стычка один на один.

– Только бы Дайверы не узнали, – сказала Розмэри.

– Пойду проведаю Маккиско. Хотите со мной? Ему будет приятно ваше участие – бедняга, верно, ни на миг глаз не сомкнул.

Розмэри живо представилось, как этот нескладный, болезненно обидчивый человек мечется без сна в ожидании рассвета. С минуту она колебалась, потом жалость пересилила в ней отвращение, и, кивнув головой, она по-утреннему бодро взбежала по лестнице вместе с Эйбом.

Маккиско сидел на кровати с бокалом шампанского, но вся его хмельная воинственность улетучилась без следа. Сейчас это был хилый, бледный, насупленный человечек. Видимо, он всю ночь напролет пил и писал. Он растерянно оглянулся на Эйба и Розмэри.

– Уже пора?

– Нет, еще полчаса в вашем распоряжении.

На столе валялись исписанные листки бумаги – очевидно, разрозненные страницы длинного письма. Не без труда подобрав их по порядку – на последних страницах строчки были очень размашистые и неразборчивые, – он придвинул настольную лампу, свет которой с наступающим утром постепенно тускнел, нацарапал внизу свою подпись, затолкал послание в конверт и вручил Эйбу со словами:

– Моей жене.

– Пойдите суньте голову под кран с холодной водой, – посоветовал ему Эйб.

– Вы думаете, нужно? – неуверенно спросил Маккиско. – Я бы не хотел совсем протрезвиться.

– Да на вас смотреть страшно.

Маккиско покорно поплелся в ванную.

– Мои дела остаются в жутком беспорядке! – крикнул он оттуда. – Не знаю, как Вайолет доберется домой, в Америку. Я даже не застрахован. Все как-то руки не доходили.

– Не мелите вздор, через час вы благополучно будете завтракать в отеле.

– Да, да, конечно.

Он вернулся с мокрыми волосами и недоуменно посмотрел на Розмэри, будто впервые ее увидел. Вдруг его глаза помутнели от слез.

– Мой роман так и не будет дописан. Вот что для меня самое тяжелое. Вы ко мне плохо относитесь, – обратился он к Розмэри, – но тут уж ничего не поделаешь. Я прежде всего – писатель. – Он как-то уныло икнул и помотал головой с безнадежным видом. – Я много ошибался в своей жизни – очень много. Но я был одним из самых выдающихся – в некотором роде...

Он не договорил и стал сосать потухшую сигарету.

– Я к вам очень хорошо отношусь, – сказала Розмэри, – но мне не нравится вся эта история с дуэлью.

– Да, надо было просто избить его как следует, но сделанного не вернешь. Я дал себя спровоцировать на поступок, которого не имел права совершать. Я чересчур вспылчив...

Он внимательно посмотрел на Эйба, словно ожидая возражений с его стороны. Потом с судорожным смешком опять поднес к губам сигарету. Было слышно, как он учащенно дышит.

– Беда в том, что я сам заговорил о дуэли. Если б еще Вайолет смолчала, я бы сумел все уладить. Конечно, еще и сейчас не поздно – можно взять и уехать или обратить все в шутку. Но, боюсь, Вайолет тогда перестанет уважать меня.

– Вовсе нет, – сказала Розмэри. – Она даже станет уважать вас больше.

– Вы не знаете Вайолет. Если она чувствует себя в чем-то сильнее другого, она может быть очень жестокой. Мы женаты двенадцать лет, была у нас дочка, она умерла, когда ей шел восьмой год, а потом – знаете, как оно бывает в таких случаях. Мы оба стали кое-что позволять себе на стороне, не то чтобы всерьез, но все-таки это нас отдаляло друг от друга. А вчера она меня там обозвала трусом.

Розмэри, смущенная, молчала.

– Ладно, постараемся, чтобы все обошлось без последствий, – сказал Эйб и открыл большой кожаный футляр. – Вот дуэльные пистолеты Барбана – я прихватил их, чтобы вы могли заранее с ними освоиться. Он всегда возит их в своем чемодане. – Эйб взял один из пистолетов и взвесил на руке. Розмэри испуганно вскрикнула, а Маккиско с явной опаской уставился на это архаическое оружие.

– Неужели, чтобы нам обменяться выстрелами, нужны пистолеты сорок пятого калибра?

– Не знаю, – безжалостно сказал Эйб. – Считается, что из длинноствольного пистолета удобнее целиться.

– А с какого расстояния? – спросил Маккиско.

– Я разузнал все порядки. Если цель поединка – лишить противника жизни, назначают восемь шагов, если хотят выместить на нем разгоревшуюся злобу – двадцать, а если речь идет только о защите чести – сорок. Мы с секундантом Томми порешили на сорока.

– Хорошо.

– Интересная дуэль описана в одной повести Пушкина⁶, – вспомнил Эйб. – Противники стояли оба на краю пропасти, так что даже получивший пустяковую рану должен был погибнуть.

Этот экскурс в историю литературы, видимо, не дошел до Маккиско, он недоуменно посмотрел на Эйба и спросил:

– Что-что?

– Не хотите ли разок окунуться в море – это вас освежит.

– Нет, нет, мне не до купанья. – Он вздохнул. – Я ничего не понимаю, – сказал он. – Зачем я это делаю?

Впервые в жизни ему приходилось что-то *делать*. Он был из тех людей, для которых чувственный мир не существует, и, очутившись перед конкретным фактом, он совершенно растерялся.

– Что ж, будем собираться, – видя его состояние, сказал Эйб.

– Хорошо. – Он отхлебнул порядочный глоток бренди, сунул фляжку в карман и спросил, как-то дико поводя глазами: – А вдруг я убью его – меня тогда посадят в тюрьму?

– Я вас переброшу через итальянскую границу.

Он оглянулся на Розмэри, потом сказал Эйбу виноватым тоном:

– Прежде чем идти, я бы хотел кое о чем поговорить с вами наедине.

– Я надеюсь, что ни один из вас не будет ранен, – сказала Розмэри. – Эта дуэль – ужасная глупость, и нужно постараться, чтобы она не состоялась.

⁶ ...в одной повести Пушкина. – Разумеется, не Пушкина, Речь идет о дуэли Печорина и Грушницкого в «Герое нашего времени» Лермонтова.

XI

Внизу, в пустынном вестибюле, Розмэри встретила Кампиона.

– Я видел, как вы пошли наверх, – заговорил он возбужденно. – Ну, как там Маккиско? Когда состоится дуэль?

– Не знаю. – Ей не понравился его тон – словно речь шла о цирковом представлении с Маккиско в амплу трагического клоуна.

– Поедьте со мной. Я заказал машину в отеле, – сказал он так, как говорят: «У меня есть лишний билет».

– Спасибо, не хочется.

– А почему? Я бы ни за что не согласился пропустить такое событие, хоть это наверняка сократит мою жизнь на несколько лет. Мы можем остановить машину, не доезжая до места, и смотреть издали.

– Пригласите лучше мистера Дамфри.

Кампион выронил свой монокль, на этот раз не нашедший пристанища в курчавых зарослях, и с достоинством выпрямился.

– С ним у меня больше нет ничего общего.

– К сожалению, я никак не могу поехать. Мама будет недовольна.

Когда Розмэри вернулась к себе, в соседней комнате заскрипела кровать и сонный голос миссис Спирс спросил:

– Где ты была?

– Мне просто не спалось, и я вышла на воздух. А ты спи, мамочка.

– Иди сюда.

Догадавшись по звуку, что мать села в постели, Розмэри вошла и рассказала ей обо всем случившемся.

– А почему тебе в самом деле не поехать? – сказала миссис Спирс. – Ведь можно остаться на расстоянии, а потом, в случае чего твоя помощь очень пригодится.

Розмэри колебалась – ей неприятно было вообразить себя глазеющей на подобное зрелище, но у миссис Спирс мысли еще путались со сна, и из ее прошлого докторской жены наплывали воспоминания о ночных вызовах на место катастрофы или к постели умирающего.

– Мне хочется, чтобы ты сама, без меня, решала, куда тебе идти и что делать, – делала же ты для рекламных трюков Рэйни многое, что было потруднее.

Розмэри по-прежнему казалось, что ехать ей незачем, но она повиновалась отчетливому, твердому голосу матери – как повиновалась в двенадцать лет, когда этот же голос велел ей войти в театр «Одеон» с артистического подъезда и потом ласково поздравил ее с удачей.

Выйдя на крыльцо, Розмэри увидела, как отъехал автомобиль, увозивший Маккиско и Эйба, и облегченно вздохнула, но тут из-за угла выкатилась машина отеля. Восторженно пискнув, Луис Кампион втащил Розмэри на сиденье рядом с собой.

– Я нарочно выжидал, боялся, вдруг они не позволят нам ехать. А я, видите, и киноаппарат прихватил.

Она усмехнулась, не зная, что сказать. Он был до того отвратителен, что уже не внушал и отвращения, просто воспринимался как нелюдь.

– Почему миссис Маккиско невзлюбила Дайверов? – спросила она. – Они были так любезны к ней.

– При чем тут «невзлюбила»? Она там что-то такое увидела. А что, мы так и не узнали из-за Барбана.

– Значит, не это вас так расстроило?

– Ну что вы. – Его голос дрогнул. – *То* случилось после нашего возвращения в отель. Но теперь мне уже все равно – не хочу больше и думать об этом.

Следом за машиной Эйба они выехали на береговое шоссе, миновали Жуан-ле-Пэн с остовом строящегося здания казино и поехали дальше на восток. Был пятый час утра, и под серо-голубым небом уже выходили, поскрипывая, в море первые рыбачьи лодки. Немного спустя обе машины свернули с шоссе влево и стали удаляться от моря.

– Сейчас мы увидим поле для гольфа! – закричал Кампион. – Я уверен, там это и будет.

Он оказался прав. Когда машина Эйба остановилась впереди, небо на востоке уже было разрисовано желтыми и красными полосами, предвещавшими знойный день. Розмэри и Кампион велели шоферу дожидаться в сосновой роще, а сами пошли вдоль тенистой опушки, огибая край поля, где по выжженной солнцем траве расхаживали Эйб и Маккиско – последний временами вытягивал шею, как принимающий кролик. Но вот у дальней отметины для мяча появились еще какие-то фигуры – впереди можно было распознать Барбана, за ним француз-секундант нес под мышкой ящик с пистолетами.

Оробевший Маккиско юркнул за спину Эйба и основательно приложился к фляжке с бренди. После чего, давась и кашляя, поспешил дальше и налетел бы с разгону на двигавшегося навстречу противника, если б не Эйб, который удержал его на полдороге, а сам отправился совещаться с французом. Солнце уже взошло над горизонтом.

Кампион вцепился Розмэри в плечо.

– Ох, не могу, – присипел он едва слышно. – Это для меня чересчур. Это сократит мою жизнь на...

– Пустите меня! – крикнула на него Розмэри и, отвернувшись, с жаром зашептала французскую молитву.

Дуэлянты встали друг против друга – Барбан с засученным выше локтя рукавом. Его глаза беспокойно поблескивали на солнце, но он вытер ладонь о штанину неторопливым и размеренным движением. Маккиско, которому бренди придало отваги, сжал губы дудочкой и с напускным равнодушием поводит своим длинным носом, пока Эйб не шагнул вперед, держа в руке носовой платок. Секундант-француз смотрел в другую сторону. Розмэри, душимая мучительным состраданием, скрежетала зубами от ненависти к Барбану.

– Раз – два – три! – напряженным голосом отсчитал Эйб.

Два выстрела грянули одновременно. Маккиско пошатнулся, но тут же овладел собой. Оба дуэлянта промахнулись.

– Достаточно! – крикнул Эйб.

Все вопросительно посмотрели на Барбана.

– Я не удовлетворен.

– Вздор! Вы вполне удовлетворены, – сердито сказал Эйб. – Вы просто сами еще этого не поняли.

– Ваш подопечный отказывается от второго выстрела?

– Не валяйте дурака, Томми. Вы настояли на своем, и мой доверитель исполнил все, что от него требовалось.

Томми презрительно рассмеялся.

– Расстояние было смехотворным, – сказал он. – Я не привык к подобным комедиям – напомните своему подопечному, что он не в Америке.

– А вы полегче насчет Америки, – довольно резко оборвал его Эйб. И более примирительным тоном добавил: – Правда, Томми, это все слишком далеко зашло. – С минуту они о чем-то препирались вполголоса, потом Барбан кивнул и холодно поклонился издали своему недавнему противнику.

– А обменяться рукопожатиями? – спросил француз-врач.

– Они уже знакомы, – ответил Эйб.

Он повернулся к Маккиско:

– Пойдемте, здесь больше нечего делать.

Уже на ходу Маккиско в порыве ликования схватил Эйба за руку.

– Постойте-ка, – сказал Эйб. – Нужно вернуть Томми его пистолет. Он ему еще понадобится.

Маккиско протянул пистолет Эйбу.

– Ну его к черту, – сказал он задиристо. – Передайте, что он...

– Может быть, передать, что вы хотели бы еще раз обменяться с ним выстрелами?

– Вот я и дрался на дуэли! – воскликнул Маккиско, когда они наконец пошли к машине. –

И показал, на что я способен. Я был на высоте, верно?

– Вы были пьяны, – отрезал Эйб.

– Вовсе нет.

– Ну нет так нет.

– А если я даже глотнул раз-другой, что от этого меняется?

Все больше набираясь апломба, он уже недружелюбно поглядывал на Эйба.

– Что от этого меняется? – настаивал он.

– Если вам непонятно, объяснять, пожалуй, не стоит.

– А вы разве не знаете, что во время войны все всегда были пьяны?

– Ладно, поставим точку.

Но точку, оказывается, было еще рано ставить. Кто-то бежал вдогонку; они остановились, и к ним подошел запыхавшийся врач.

– Pardon, messieurs, – заговорил он, отдуваясь. – Voulez-vous régler mes honoraires? Naturellement c'est pour soins médicaux seulement. M. Barban n'a qu'un billet de mille et ne peut pas les régler et l'autre a laissé son porte-monnaie chez lui⁷.

– Француз остается французом, – заметил Эйб; потом спросил врача: – Combien?⁸

– Дайте я заплачу, – предложил Маккиско.

– Не надо, у меня есть. Мы все рисковали одинаково.

Пока Эйб расплачивался с врачом, Маккиско вдруг метнулся в кусты, и там его вырвало. Вышел он оттуда бледнее прежнего и чинно проследовал за Эйбом к машине в лучах совсем уже розового утреннего солнца.

А в сосновой роще лежал, судорожно лоя ртом воздух, Кампион, единственная жертва дуэли, и Розмэри в припадке истерического смеха пинала его носком сандалеты в бок. Она не успокоилась, пока не заставила его встать и идти – для нее теперь важно было только одно: через несколько часов она увидит на пляже того, кого мысленно все еще называла словом «Дайверы».

⁷ Простите, господа. Я хотел бы получить причитающийся мне гонорар. Только за медицинскую помощь, разумеется. Господин Барбан не мог рассчитаться, так как у него есть только тысячефранковая купюра. А другой господин забыл кошелек дома (фр.).

⁸ Сколько? (фр.)

XII

Вшестером они сидели у Вуазена, дожидаясь Николь, – Розмэри, Норты, Дик Дайвер и двое молодых музыкантов-французов. Сидели и внимательно приглядывались к другим посетителям ресторана: Дик утверждал, что ни один американец – за исключением его самого – не умеет спокойно держаться на людях, и они искали примера, чтобы поспорить на этот счет. Но, как назло, за десять минут не нашлось никого, кто, войдя в зал, не сделал бы какого-то ненужного жеста, не провел бы рукой по лицу, например.

– Зря мы перестали носить нафабранные усы, – сказал Эйб. – Но все-таки это неверно, что Дик – единственный, кто способен держаться спокойно.

– Нет, верно, – возразил Дик.

– Единственный, кто на это способен в трезвом виде, – с такой оговоркой я еще, пожалуй, готов согласиться.

Недалеко от них хорошо одетый американец и две его спутницы, непринужденно болтая, рассаживались вокруг освободившегося столика. Вдруг американец почувствовал, что за ним следят; тотчас же его рука дернулась кверху и стала разглаживать несуществующую складку на галстуке. Другой мужчина, ожидавший места, то и дело похлопывал себя по гладко выбритой щеке, а его спутник машинально мял пальцами недокуренную сигару. Кто-то вертел в руках очки, кто-то дергал волосок бородавки; другие, кому уцепиться было не за что, поглаживали подбородок или отчаянно теребили мочку уха.

Но вот в дверях появился генерал, чье имя было хорошо известно многим, и Эйб Норт, в расчете на вест-пойнтскую муштру, с первого года входящую в плоть и кровь будущего военного, предложил Дику пари на пять долларов.

Свободно опустив руки вдоль туловища, генерал дождался, когда его усадят. Вдруг обе руки качнулись назад, как у дергунчика, и Дик уже открыл рот для торжествующего возгласа, но генерал вновь обрел равновесие, и все облегченно перевели дух – тревога была ложная, официант пододвигал гостю стул... И тут раздосадованный полководец резким движением почесал свои белоснежные седины.

– Ну, кто был прав? – самодовольно сказал Дик. – Конечно, я – единственный.

Для Розмэри, во всяком случае, это было так, и Дик, воздавая должное благодарной аудитории, сумел создать за своим столом такое дружное веселье, что Розмэри никого и ничего не замечала вокруг. Они приехали в Париж два дня назад, но все еще словно бы не выбрались из-под пляжного зонтика. Иногда Розмэри, еще не искушенная опытом светских раутов Голливуда, робела в непривычной обстановке – как, например, на балу Пажеского корпуса, где они были накануне; но Дик сразу приходил на помощь: здоровался по-приятельски с двумя-тремя избранными (у Дайверов везде оказывалось множество знакомых, с которыми они, однако, подолгу не виделись, судя по изумленным возгласам: «Да где же это вы пропадаете?») и тотчас же вновь замыкал границы своего тесного кружка, и каждого, кто пытался туда проникнуть, ждал мягкий, но решительный отпор – этакий *coup de grâces*⁹, нанесенный шпагой иронии. Вскоре Розмэри уже чудилось, будто и сама она знавала этих людей в далеком и неприятном прошлом, но впоследствии разошлась с ними, отвернулась от них, вычеркнула их из своей жизни.

Компания Дика была сокрушительно американская, а иногда вдруг казалось, что ничего в ней американского нет. Все дело было в том, что он возвращал американцев самим себе, воскрешал в них черты, стертые многолетними компромиссами.

⁹ Приканчивающий удар (*фр.*).

В дымном, пропитанном острыми ароматами пищи сумраке ресторана заголубел костюм Николь, точно кусочек яркого летнего дня ворвался снаружи. За столом ее встретили взгляды, в которых было восхищение ее красотой, и она отвечала сияющей благодарной улыбкой. Потом пошла любезности, обычная светская болтовня о том о сем и ни о чем. Потом, когда это надоело, начали обмениваться шуточками, даже шпильками, наконец стали строить всякие планы. Много смеялись, а чему, сами не могли после вспомнить, но смеялись от души, а мужчины распили три бутылки вина. В тройке женщин за этим столом отразился пестрый поток американской жизни. Николь – внучка разбогатевшего американского торговца и внучка графа фон Липпе-Вайссенфельда. Мэри Норт – дочь мастера-обойщика и потомок Джона Тайлера, десятого президента США. Розмэри – девушка из скромной буржуазной семьи, закинутая матерью на безымянные высоты Голливуда. Одним они походили друг на друга и этим же отличались от многих других американских женщин: все три охотно существовали в мужском мире, сохраняя свою индивидуальность благодаря мужчинам, а не вопреки им. Каждая могла стать образцовой женой или образцовой куртизанкой в зависимости от обстоятельств – но не обстоятельств рождения, а других, более значительных: от того, встретит или не встретит она в жизни мужчину, который ей нужен.

Розмэри было приятно завтракать в ресторане, в такой милой компании, – хорошо, что всего семь человек, больше было бы уже слишком много. И может быть, она, новичок в их кружке, своим присутствием действовала как катализатор, заставляя проявляться многое в отношениях между членами этого кружка, что обычно оставалось нераскрытым. Когда встали из-за стола, официант проводил Розмэри в темный закоулок, без какого не обходится ни один французский ресторан; и там, при свете тускло-оранжевой лампочки разыскав в справочнике номер, она позвонила во «Франко-Америкен филмз». Да, конечно, копия «Папиной дочки» у них имеется – сейчас она в прокате, но дня через три можно будет устроить просмотр, пусть мисс Хойт приедет на Rue de Saints Anges, 341 и спросит мистера Краудера.

Телефон находился у выхода в вестибюль, и, кладя трубку, Розмэри услышала приглушенные голоса. Разговаривали двое, отделенные от нее гардеробной вешалкой.

– ...значит, любишь?

– Ты еще спрашиваешь!

Розмэри узнала голос Николь и остановилась в нерешительности. И тут она услышала голос Дика:

– Я хочу тебя – сейчас же, – давай поедem в отель.

У Николь вырвался короткий, сдавленный вздох. В первую минуту Розмэри не поняла услышанных слов, но тон она поняла. Таинственная его интимность дрожью отдалась в ней самой.

– Хочу тебя.

– Я приеду в отель к четверем.

Голоса стихли, удаляясь, а Розмэри все стояла, боясь перевести дух. Сначала она даже была удивлена – почему-то отношения этих двух людей всегда представлялись ей более отвлеченными, более безличными. Но вдруг ее захлестнуло какое-то новое чувство, бурное и незнакомое. Она не знала, что это – восторг или отвращение, знала только, что все в ней перевернулось. Она чувствовала себя очень одинокой, когда шла обратно в зал, и в то же время растроганной донельзя; это полное страстной благодарности «Ты еще спрашиваешь!» звучало у нее в ушах. Истинный подтекст разговора, который она невольно подслушала, был пока недоступен ей, все это еще ждало ее впереди, но нутром она чувствовала, что ничего дурного тут нет – ей не было противно, как бывало при съемке любовных сцен в фильмах.

Хоть это и не касалось ее непосредственно, Розмэри уже не могла оставаться безучастной; странствуя по магазинам с Николь, она все время думала о назначенном свидании, о котором Николь словно бы не думала вовсе. Она вглядывалась в Николь, по-новому оценивая ее при-

влекательность. И ей казалось, что в этой женщине привлекательно все – даже свойственная ей жестковатость, даже ее привычки и склонности и еще что-то неуловимое, что для Розмэри, смотревшей на все это глазами своей матери, представительницы среднего класса, связывалось с отношением Николь к деньгам. Розмэри тратила деньги, заработанные трудом, – в Европе она сейчас находилась потому, что в одно январское утро больная, с температурой, раз за разом прыгала в воду, пока мать не вмешалась и не увезла ее домой.

С помощью Николь Розмэри купила на свои деньги два платья, две шляпы и четыре пары туфель. Николь делала покупки по списку, занимавшему две страницы, а кроме того, покупала все приглянувшееся ей в витринах, то, что не могло согдаться ей самой, она покупала в подарок друзьям. Она накупила пестрых бус, искусственных цветов, надувных подушек для пляжа, сумок, шалей, цветочного меда и штук десять купальных костюмов. Купила резинового крокодила, кровать-раскладушку, мебель для кукольного домика, пару попугайчиков-неразлучников, отрез новомодной материи с перламутровым отливом, дорожные шахматы слоновой кости с золотом, дюжину полотняных носовых платков для Эйба, две замшевые куртки от Гермеса – одну цвета морской волны, другую цвета клубники со сливками. Она покупала вещи не так, как это делает дорогая куртизанка, для которой белье или драгоценности – это, в сущности, и орудия производства, и помещение капитала, – нет, тут было нечто в корне иное. Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки и все быстрее двигались трансмиссии у станков; рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед Рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах стандартных цен; индейцы-полукровки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими, – все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой. Она наглядно иллюстрировала очень простые истины, неся в себе самой свою неотвратимую гибель, но при этом была полна такого обаяния, что Розмэри невольно захотелось подражать ей.

Было уже почти четыре часа. Стоя посреди магазина с зеленым попугайчиком на плече, Николь разговорилась – что с ней бывало нечасто.

– А ведь если б вам не пришлось прыгать в воду в тот зимний день... Странно иногда получается в жизни. Я помню, перед самой войной мы жили в Берлине – это было незадолго до смерти мамы, мне тогда шел четырнадцатый год. Бэби, моя сестра, получила приглашение на придворный бал, и в ее книжечке три танца были записаны за принцами крови – все это удалось устроить через одного камергера. За полчаса до начала сборов у нее вдруг жар и сильная боль в животе справа. Врач признал аппендицит и сказал, что нужна операция. Но мама не любила отказываться от своих планов; и вот сестре под бальным платьем привязали пузырь со льдом, и она поехала на бал и танцевала до двух часов ночи, а в семь утра ей сделали операцию.

Выходило, что жестоким быть нужно; самые симпатичные люди жестоки по отношению к самим себе. Между тем часы уже показывали четыре, и Розмэри не давала покоя мысль о Дике, который сидит в отеле и ждет Николь. Почему же та не едет, почему заставляет его ждать? Мысленно она торопила Николь: «Да поезжайте же!» В какую-то минуту она едва не крикнула: «Давайте я поеду, если вам это ни к чему!» Но Николь зашла еще в один магазин, где выбрала по букетику к платьям себе и Розмэри и такой же велела отправить с посыльным Мэри Норт. Только после этого она, видимо, вспомнила – взгляд у нее сделался рассеянный, и она подозвала проезжающее такси.

– Мы премило провели время, правда? – сказала она, прощаясь.

– Чудесно, – отозвалась Розмэри. Она не думала, что это будет так трудно; все в ней бунтовало, когда она смотрела вслед удалявшемуся такси.

XIII

Дик обогнул траверс и продолжал идти по дощатому настилу на дне траншеи. Посмотрел в попавшийся на пути перископ, потом стал на стрелковую ступень и выглянул из-за бруствера. Впереди, под мутным сереньким небом, был виден Бомон-Гамель, слева памятником трагедии высилась гора Типваль. Дик поднес к глазам полевой бинокль, тягостное чувство сдавило ему горло.

Он пошел по траншее дальше и у следующего траверса нагнал своих спутников. Ему не терпелось передать другим переполнявшее его волнение, заставить их все почувствовать и все понять; а между тем ему ведь ни разу не пришлось побывать в бою – в отличие от Эйба Норта, например.

– Каждый фут этой земли обошелся тем летом в двадцать тысяч человеческих жизней¹⁰, – сказал он Розмэри.

Она послушно обвела взглядом унылую равнину, поросшую низенькими шестилетними деревцами. Скажи Дик, что сами они сейчас находятся под артиллерийским обстрелом, она бы и этому поверила. Ее любовь наконец достигла той грани, за которой начинается боль и отчаяние. Она не знала, что делать, – а матери не было рядом.

– С тех пор немало еще поумирало народу, и все мы тоже скоро умрем, – утешил Эйб.

Розмэри неотрывно смотрела на Дика, ожидая продолжения его речи.

– Вон видите речушку – не больше двух минут ходу отсюда? Так вот англичанам понадобился тогда месяц, чтобы до нее добраться. Целая империя шла вперед, за день продвигаясь на несколько дюймов; падали те, кто был в первых рядах, их место занимали шедшие сзади. А другая империя так же медленно отходила назад, и только убитые оставались лежать бесчисленными грудями окровавленного тряпья. Такого больше не случится в жизни нашего поколения, ни один европейский народ не отважится на это.

– В Турции только-только перестали воевать, – сказал Эйб. – И в Марокко...

– То другое дело. А Западный фронт в Европе повторить нельзя и не скоро можно будет. И напрасно молодежь думает, что ей это по силам. Еще первое Марнское сражение можно было бы повторить, но то, что произошло здесь, – нет, никак. Для того, что произошло здесь, потребовалось многое – вера в бога, и годы изобилия, и твердые устои, и отношения между классами, как они сложились именно к тому времени. Итальянцы и русские для этого фронта не годились. Тут нужен был фундамент цельных чувств, которые старше тебя самого. Нужно было, чтобы в памяти жили рождественские праздники, и открытки с портретами кронпринца и его невесты, и маленькие кафе Валанса, и бракосочетания в мэрии, и поездки на дерби, и дедушкины бакенбарды.

– Такую тактику битвы придумал еще генерал Грант¹¹ – в тысяча восемьсот шестьдесят пятом – при Питерсберге.

– Неправда, то, что придумал генерал Грант, было обыкновенной массовой бойней. А то, о чем говорю я, идет от Льюиса Кэролла, и Жюль Верна, и того немца, который написал «Ундино»¹², и деревенских попикиков, любителей поиграть в кегли, и марсельских *marraines*¹³, и

¹⁰ ...в двадцать тысяч человеческих жизней... – речь идет о наступлении немецких частей в районе Амьена в марте – апреле 1918 г. После тяжелых боев, в ходе которых стороны потеряли свыше 200 тысяч солдат каждая, наступление было остановлено.

¹¹ Грант Улисс Симпсон (1822–1885) – главнокомандующий войсками Севера в годы Гражданской войны в США, победитель в ее решающих сражениях – при Питерсберге и Аппоматоксе. Президент США в 1867–1877 гг. До войны был мелким торговцем. В годы своего президентства снискал нелестную славу взяточника.

¹² «Ундино» (1811) – романтическая повесть Фридриха де ла Мотта Фуке (1777–1843) о любви русалки к рыцарю, на основе которой написана одноименная опера Э.-Т.-А. Гофмана.

обольщенных девушек из захолустий Вестфалии и Вюртемберга. В сущности, здесь ведь разыгралась любовная битва – целый век любви буржуа пошел на то, чтоб удобрить это поле. Это была последняя любовная битва в истории.

– Еще немного, и вы отдадите ее авторство Д.-Г. Лоуренсу¹⁴, – сказал Эйб.

– Весь мой прекрасный, милый, благополучный мир взлетел тут на воздух от запала любовной взрывчатки, – не унимался Дик. – Ведь так, Розмэри?

– Не знаю, – сосредоточенно сдвинув брови, сказала она. – Это вы все знаете.

Они чуть поотстали от прочих. Вдруг их обдало градом камешков и комков земли, а из-за ближайшего траверса послышался громкий голос Эйба:

– Дух старого бойца проснулся во мне. За мной ведь тоже целый век любви – любви в штате Огайо. Сейчас вот разбомблю к чертям эту траншею. – Он высунул голову из-за насыпи. – Вы что же, правил игры не знаете? Вы убиты – я в вас метнул ручную гранату.

Розмэри засмеялась, а Дик подобрал было горсть камешков для ответного залпа, но тут же выпустил их из рук.

– Не могу дурачиться в таком месте, – сказал он почти виноватым тоном. – Пусть серебряная цепочка порвалась и разбился кувшин у источника и как там дальше – но я старый романтик, и с этим ничего не поделаешь.

– Я тоже романтик.

Они выбрались из аккуратно реставрированной траншеи и прямо перед собой увидели памятник павшим ньюфаундлендцам. Читая надпись на памятнике, Розмэри вдруг разрыдалась. Как большинство женщин, она любила, когда ей подсказывали, что и когда она должна чувствовать, и ей нравились поучения Дика: вот это смешно, а вот это печально. Но больше всего ей хотелось, чтобы Дик понял, как сильно она его любит – теперь, когда эта любовь перевернула для нее все на свете, когда она даже по полю сражения ходит будто в прекрасном сне.

Они сели в машину и поехали обратно в Амьен. Теплый реденький дождик сеялся на низкорослые деревья и кусты, по сторонам то и дело попадались сложенные, точно для гигантских погребальных костров, артиллерийские стаканы, бомбы, гранаты и всяческая амуниция – каски, штыки, ружейные приклады, полусгнившие ремни, шесть лет пролежавшие в земле. И вдруг за поворотом дороги запенилось белыми гребешками целое море могил. Дик велел шоферу остановиться.

– Смотрите, та рыженькая девушка так и не пристроила свой венок.

Он вышел и направился к девушке с большим венком в руках, растерянно стоявшей у ворот кладбища. Рядом дождалось такси. Это была молоденькая американка из Теннесси, приехавшая возложить цветы на могилу своего брата, – они познакомились с ней утром в поезде. Сейчас лицо у нее было сердитое и заплаканное.

– Наверно, в военном министерстве перепутали номер, – пожаловалась она Дик. – На той могиле совсем другое имя. Я с двух часов ищу, но их тут столько, разве найдешь.

– А вы на имя не смотрите, положите цветы на любую могилу, – посоветовал Дик.

– По-вашему, это будет правильно?

– По-моему, он бы вас похвалил за это.

Уже темнело, и дождь усиливался. Девушка положила венок на ближайшую к воротам могилу и охотно приняла предложение Дика отпустить такси и ехать в Амьен с ними.

Розмэри, услышав об этой чужой задаче, опять всплакнула – такой уж мокрый выдался день; но все же ей казалось, что он ей принес что-то новое, хотя и неясно было, что именно. Потом, в воспоминаниях, все в этой поездке представлялось ей сплошь прекрасным – бывают

¹³ Кумушек (*фр.*).

¹⁴ *Лоуренс Дэвид Герберт* (1885–1930) – английский писатель. В годы, когда происходит действие романа «Ночь нежна», оживленно комментировалось решение судебных инстанций, запретивших роман Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» (1928) за чрезмерную откровенность интимных сцен.

такие ничем не примечательные часы или дни, которые воспринимаешь просто как переход от вчерашней радости к завтрашней, а оказывается, в них-то самая радость и была.

Амьен, лиловатый и гулкий, все еще хранил скорбный отпечаток войны, как некоторые вокзалы – Gare du Nord, например, или вокзал Ватерлоо в Лондоне. Днем такие города нагоняют тоску, смотришь, как старомодный трамвайчик тарыхтит по пустынной, мощенной серым булыжником соборной площади, – и даже самый воздух кажется старомодным, выцветшим от времени, как старые фотографии. Но приходит вечер, и все, чем особенно мил французский быт, возвращается на ожившие улицы – бойкие проститутки, неумные спорщики в кафе, пересыпающие свою речь бессчетными «Voilà!», парочки, что блуждают, щека к щеке, довольные дешевой этой прогулки в никуда. В ожидании поезда Дик и его спутники сели за столик под аркадой, где высокие своды вбирали и музыку, и гомон, и дым; оркестр в их честь исполнил «У нас нет больше бананов», и они поаплодировали дирижеру, явно очень довольному собой. Девушка из Теннесси забыла свои огорчения и веселилась от души, даже стала кокетничать с Диком и Эйбом, пуская в ход знойные взгляды и игривые телодвижения, а они добродушно подзадоривали ее.

Наконец парижский поезд пришел, и они уехали, а земля, в которой под теплым дождем распадались и тлели вюртембергцы, альпийские стрелки, солдаты прусской гвардии, ткачи из Манчестера и питомцы Итонской школы, осталась позади. Они ели бутерброды с болонской колбасой и сыром *bel paese*, приготовленные в станционном буфете, и запивали их вином *Beaujolais*. Николь казалась рассеянной; она нервно покусывала губы, углубясь в путеводители, которые захватил с собой Дик, – да, он успел неплохо изучить обстоятельства Амьенской битвы, кое-что сгладил, и в конце концов вся операция приобрела у него неуловимое сходство с приемами в дайверовском доме.

XIV

Вечером они еще собирались посмотреть при электрическом освещении Выставку декоративного искусства, но по приезде в Париж Николь сказала, что устала и не пойдет. Они довели ее до отеля «Король Георг», и когда она скрылась за пересекающимися плоскостями, образованными игрою света в стеклянных дверях, у Розмэри стало легче на душе. Николь была сила, и, быть может, вовсе не добрая; во всяком случае, с ней нельзя было ничего предвидеть заранее – не то что с матерью, например. Розмэри ее немножко боялась.

Около одиннадцати Розмэри, Норт и Дик зашли в кафе-поплавков, недавно открытое на Сене. В воде, серебристо мерцавшей под фонарями, покачивались десятки холодных лун. Когда Розмэри жила в Париже с матерью, они по воскресеньям ездили иногда на пароходике до Сюрена и дорогой строили планы на будущее. У них было очень немного денег, но миссис Спирс, твердо веря в красоту Розмэри и в честолюбивые стремления, которые сама постаралась ей внушить, готова была рискнуть всем, что имела; потом, когда девочка станет на ноги, она с лихвой возместит матери все затраты...

Эйб Норт с самого их приезда в Париж все время был слегка под хмельком; глаза у него покраснели от солнца и вина. В этот вечер Розмэри впервые заметила, что он не пропускает ни одного заведения, где можно выпить, и ей пришло в голову, что вряд ли это очень приятно Мэри Норт. Мэри обычно мало разговаривала, хотя легко и охотно смеялась, – настолько мало, что Розмэри, в сущности, ничего не успела о ней узнать. Розмэри нравились ее прямые черные волосы, зачесанные назад и только на затылке рассыпавшиеся пышным естественным каскадом; время от времени выбившаяся прядь, косо упав на лоб, лезла в глаза, и тогда она встряхивала головой, чтобы заставить ее лечь на место.

– После этой бутылки мы идем домой, Эйб. – Голос Мэри звучал ровно, но в нем проби- валась нотка тревоги. – А то придется тебя грузить на пароход в жидком состоянии.

– Да всем пора домой, – сказал Дик. – Уже поздно.

Но Эйб упрямо сдвинул свои царственные брови.

– Нет, нет. – И после внушительной паузы: – Торопиться ни к чему. Мы должны распить еще бутылку шампанского.

– Я больше пить не буду, – сказал Дик.

– А Розмэри будет. Она ведь завзятый алкоголик – у нее всегда припрятана в ванной бутылка джину. Мне миссис Спирс рассказывала.

Он вылил остатки шампанского в бокал Розмэри. В их первый день в Париже Розмэри выпила столько лимонаду, что почувствовала себя плохо, и после этого уже вообще ни к каким напиткам не прикасалась. Но сейчас она взяла налитый ей бокал и поднесла к губам.

– Вот тебе и раз! – воскликнул Дик. – Вы же говорили, что никогда не пьете.

– Но я не говорила, что никогда не буду пить.

– А что скажет мама?

– Один бокал можно.

Ей вдруг очень захотелось выпить этот бокал шампанского. Дик пил, не очень много, но пил, и может быть, если она выпьет тоже, это их сблизит, поможет ей сделать то, на что она внутренне решилась. Она залпом проглотила почти половину, поперхнулась и, переведя дух, сказала:

– Кроме того, мне уже восемнадцать лет – вчера исполнилось.

– Что же вы нам не сказали? – возмущенно зашумели остальные.

– Нарочно, чтоб вы ничего не затевали и не создавали себе лишние хлопоты. – Она допила свое шампанское. – Вот, считайте, что мы отпраздновали.

– Ничего подобного, – возразил Дик. – Завтра по случаю вашего дня рождения будет парадный ужин, и не вздумайте забыть об этом. Шутка сказать – восемнадцать лет.

– Мне когда-то казалось: все, что случается до восемнадцати лет, это пустяки, – сказала Мэри.

– Так оно и есть, – подхватил Эйб. – И то, что случается после, – тоже.

– Эйбу все пустяки, пока он не сядет на пароход, – сказала Мэри. – У него на этот год в Нью-Йорке очень серьезные планы. – Казалось, она устала произносить слова, утратившие для нее реальный смысл, словно на самом деле все, чем была заполнена – или не заполнена – ее и ее мужа жизнь, давно уже не шло дальше планов и намерений. – Он едет в Штаты писать музыку, а я еду в Мюнхен заниматься пением, и когда мы снова соединимся, нам будет море по колено.

– Как хорошо! – воскликнула Розмэри. Шампанское уже давало о себе знать.

– Ну-ка, еще шампанского для Розмэри. Это ей поможет осмыслить деятельность своих лимфатических желез. Они ведь начинают функционировать в восемнадцать лет.

Дик снисходительно засмеялся; он любил Эйба и давно уже перестал в него верить.

– Медицине это неизвестно, а вообще – идем.

Уловив в его словах покровительственный оттенок, Эйб заметил небрежно:

– А ведь, пожалуй, моя новая вещь пойдет на Бродвее куда раньше, чем вы закончите свой ученый трактат.

– Тем лучше, – не повышая тона, сказал Дик. – Тем лучше. Я, может, и вовсе брошу этот, как вы его называете, «ученый трактат».

– О, Дик! – В голосе Мэри прозвучал испуг. Розмэри впервые увидела у Дика такое лицо – пустое, лишенное всякого выражения; она чутьем поняла, что сказанная им фраза несла в себе что-то значительное, даже зловещее, и чуть не крикнула вслед за Мэри: «О, Дик!»

Но Дик уже опять весело рассмеялся.

– Брошу этот и примусь за другой, – добавил он и встал из-за стола.

– Нет, нет, Дик, погодите минутку. Я не понимаю...

– Объясню в другой раз. Спокойной ночи, Эйб. Спокойной ночи, Мэри.

– Спокойной ночи, Дик, милый.

Мэри улыбалась так, будто не могло быть ничего лучше предстоявшего ей ночного бдения на полупустом поплавке. Она была мужественная, умевшая надеяться женщина, готовая следовать за мужем невесть куда, переламывая себя то на один, то на другой манер, но ни разу ей не удалось хоть немного увести его в сторону от его пути; и порой она, почти теряя мужество, думала о том, что секрет этого пути, от которого зависел и ее путь, запрятан в нем глубоко-глубоко и недоступен ей. И, однако, она всегда излучала надежду, словно некий живой талисман...

XV

– Что это вы такое собираетесь бросить? – уже в такси спросила Розмэри, вскинув на Дика большие серьезные глаза.

– Ничего существенного.

– Вы разве ученый?

– Я врач.

– Да ну? – Она вся просияла. – Мой папа тоже был врач. Но тогда почему же вы... – Она запнулась и не кончила фразы.

– Не беспокойтесь, тут нет роковой тайны. Я не опозорил себя изменой врачебному долгу и не укрылся на Ривьере от людского суда. Просто я сейчас не занимаюсь практикой. Может быть, со временем займусь опять.

Розмэри медленно подняла к нему лицо для поцелуя. Он посмотрел на нее с недоумением. Потом, полуобняв ее за плечи, потерся щекой о ее бархатистую щеку и опять посмотрел долгим, внимательным взглядом.

– Такая прелестная девочка, – сказал он раздумчиво.

Она улыбнулась, глядя на него все так же снизу вверх, пальцы ее машинально играли лацканами его пиджака.

– Я влюблена в вас и в Николь. Это мой секрет – я даже ни с кем не могу говорить про вас, не хочу, чтобы еще кто-нибудь знал, какой вы замечательный. Нет, правда, я вас люблю – вас обоих.

...Сколько раз уже он это слышал – даже слова те же самые...

Вдруг она очутилась так близко, что ее полудетские черты расплылись перед его глазами, и он поцеловал ее захватывающим дух поцелуем, как будто у нее вовсе не было возраста.

Она откинулась на его руку и вздохнула.

– Я решила от вас отказаться, – сказала она.

Дик вздрогнул – кажется, он ничем не дал ей повода почувствовать хоть малейшее право на него.

– Вот уж это безобразие, – нарочито весело сказал он. – Как раз когда я почувствовал некоторый интерес.

– Я так вас любила... – Будто это длилось годы. В голосе у нее дрожали слезы. – Я так вас люби-и-ла...

Ему бы надо было в ответ посмеяться, но вместо того он услышал будто сами собой сказавшиеся слова:

– Вы не только красивая, вы какая-то очень полноценная. У вас все выходит по-настоящему, изображаете ли вы несуществующую любовь или несуществующее смущение.

Снова она придвинулась ближе в темной пещерке такси, пахнувшей духами, купленными по выбору Николь. Он поцеловал ее поцелуем, лишенным всякого вкуса. Если и была в ней страсть, то он мог только догадываться об этом; ни глаза ее, ни губы ничего не говорили о страсти. Ее дыхание чуть-чуть отдавало шампанским. Она еще тесней прижалась к нему, словно в порыве отчаяния, и он поцеловал ее еще раз, но его расхолаживала невинность этих губ, этого взгляда, устремленного мимо него в темноту ночи, темноту вселенной. Она не знала еще, что блаженство заключено внутри нас; когда-нибудь она это поймет и растворится в страсти, движущей миром, и если бы он тогда оказался рядом с ней, он взял бы ее без сомнений и сожалений.

Ее номер в отеле был наискосок от номера Дайверов, ближе к лифту. Дойдя до своей двери, она вдруг сказала:

– Я знаю, что вы меня не любите, – я на это и не надеялась. Но вы меня упрекнули, зачем я не сказала про свой день рождения. Вот теперь вы знаете, и я хочу, чтобы вы мне сделали подарок к этому дню – зайдите на минутку ко мне в комнату, я вам скажу что-то. На одну минутку только.

Они вошли, и, притворив за собой дверь, он повернулся к Розмэри; она стояла совсем близко, но так, что они не касались друг друга. Ночь стерла краски с ее лица, оно теперь было бледнее бледного – белая гвоздика, забытая после бала.

– Когда вы улыбаетесь... – Он опять обрел свой шутливо-отеческий тон, быть может, благодаря неосязаемой близости Николь. – ...когда вы улыбаетесь, мне всегда кажется, что я увижу у вас щербинку во рту на месте выпавшего молочного зуба.

Но он опоздал – она шагнула вплотную к нему и жалобно прошептала:

– Возьмите меня.

– Взять вас – куда?

Он оцепенел от изумления.

– Я вас прошу, – шептала она. – Сделайте со мной – ну все как есть. Ничего, если мне будет неприятно – наверно будет, – мне всегда было противно даже думать об этом, – но тут совсем другое дело. Я *хочу*, чтоб вы это сделали.

Для нее самой было неожиданностью, что она способна на такой разговор. Отозвалось все, о чем она читала, слышала, грезила в долгие годы ученья в монастырской школе. К тому же она каким-то чутьем понимала, что играет сейчас самую свою триумфальную роль, и вкладывала в нее все силы души.

– Что-то вы не то говорите, – попробовал урезонить ее Дик. – Не шампанское ли тут виновато? Давайте-ка замнем этот разговор.

– Ах нет, нет! Я прошу вас, возьмите меня, научите меня. Я ваша и хочу быть вашей совсем.

– Прежде всего, подумали ли вы, как больно было бы Николь?

– Она не узнает – к ней это не имеет отношения.

Он продолжал мягко и ласково:

– Потом, вы забываете, что я люблю Николь...

– А разве любить можно только кого-то одного? Ведь вот я люблю маму и люблю вас – еще больше, чем ее. Теперь – больше.

– ...и наконец, никакой любви у вас сейчас ко мне нет, но она могла бы возникнуть, и это изломало бы вашу жизнь в самом ее начале.

– Но мы потом уже никогда не увидимся, обещаю вам. Я вызову маму, и мы с ней уедем в Америку.

Эту мысль он отогнал. Ему слишком хорошо помнилась юная свежесть ее губ. Он переменял тон.

– Все это – настроение, которое скоро пройдет.

– Нет, нет! И я не боюсь, если даже будет ребенок. Поеду в Мексику, как одна актриса с нашей студии. Ах, я никогда не думала, что со мной может быть так, мне всегда только противно бывало, когда меня целовали всерьез. – Ясно было, что она все еще верит, что это должно произойти. – У некоторых такие большие острые зубы, но вы совсем другой, вы красивый и замечательный. Ну, пожалуйста, сделайте это...

– А, я понял – вы просто думаете, что есть особого рода поцелуи, и хотите, чтобы я вас поцеловал именно так.

– Зачем вы смеетесь надо мной – я не ребенок. Я знаю, что у вас нет ко мне любви. Я на это и не рассчитывала. – Она вдруг присмирела и сникла. – Наверно, я вам кажусь ничтожеством.

– Глупости. Но вы мне кажетесь совсем еще девочкой. – Про себя он добавил: «...которую слишком многому пришлось бы учить».

Она молчала, напряженно дыша, пока Дик не договорил:

– И помимо всего жизнь так устроена, что эти вещи не бывают по заказу.

Розмэри понурила голову и отошла, подавленная обидой и разочарованием. Дик машинально начал было: «Лучше мы с вами просто...», но осекся, увидев, что она сидит на кровати и плачет, подошел и сел рядом. Ему вдруг стало не по себе; не то чтобы он усомнился в занятой нравственной позиции – слишком уж явной была невозможность иного решения, с какой стороны ни взгляни, – нет, ему просто было не по себе, и обычная его внутренняя гибкость, упругая полнота его душевного равновесия на короткое время изменила ему.

– Я знала, что вы не захотите, – рыдала Розмэри. – Нечего было и надеяться.

Он встал.

– Спокойной ночи, детка. Ужасно глупо все получилось. Давайте считать, что этого не было. – Он отмерил ей дозу успокаивающей банальщины в качестве снотворного: – Вас многие еще будут любить, а когда-нибудь вы и сами полюбите и, наверно, порадуетесь, что пришли к своей первой любви нетронутой и физически и душевно. Немножко старомодный взгляд, пожалуй?

Она подняла голову и увидела, как он сделал шаг к двери; она смотрела на него, даже отдаленно не догадываясь, что в нем происходит, она увидела, как он медленно сделал еще шаг, потом оглянулся – и на миг ей захотелось броситься ему вслед, впиться в него, почувствовать его рот, его уши, ворот его пиджака, захотелось обвиться вокруг него и вобрать его в себя; но уже его рука легла на дверную ручку. Больше нечего было ждать. Когда дверь за ним затворилась, она встала, подошла к зеркалу и, тихонечко всхлипывая, стала расчесывать волосы щеткой. Сто пятьдесят взмахов, положенных ежевечерне, потом еще сто пятьдесят. Розмэри водила щеткой по волосам, пока у нее не заболела рука, тогда она переменяла руку и продолжала водить...

XVI

За ночь Розмэри остыла и проснулась с чувством стыда. Из зеркала глянуло на нее хорошенькое личико, но это ее не успокоило, а лишь всколыхнуло вчерашнюю боль; не помогло и пересланное матерью письмо, извещавшее о приезде в Париж того студента, чьей гостьей она была на прошлогоднем йельском балу, – все это теперь казалось бесконечно далеким. Она вышла из своей комнаты, ожидая встречи с Дайверами как пытки – сегодня мучительной вдвойне. Но никто не разглядел бы этого под внешней оболочкой, столь же непроницаемой, как у Николь, когда они встретились, чтобы вместе провести утро в примерках и покупках. И все же приятно было, когда Николь заметила по поводу нервозности какой-то продавщицы: «Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других – почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатии». Еще вчера такое замечание заставило бы экспансивную Розмэри внутренне вознегодовать, сегодня же она выслушала его с радостью – так ей хотелось убедить себя, что не произошло ничего страшного. Она восхищалась Николь, ее красотой, ее умом, но в то же время она впервые в жизни ревновала. Перед самым отъездом с Ривьеры мать в разговоре с ней назвала Николь красавицей; это было сказано тем небрежным тоном, которым она всегда – Розмэри хорошо это знала – маскировала самые значительные свои суждения, и должно было означать, что Розмэри такого названия не заслуживает. Розмэри это нисколько не задело; она с детства была приучена считать себя чуть ли не дурнушкой и свою недавно лишь признанную миловидность воспринимала как что-то не присущее ей, а скорей благоприобретенное, вроде умения говорить по-французски. Но сейчас, сидя возле Николь в такси, она невольно сравнивала ее с собой. Казалось, в Николь все словно создано для романтической любви, это стройное тело, этот нежный рот, иногда плотно сжатый, иногда полураскрытый в доверчивом ожидании. Николь была красавицей с юных лет, и было видно, что она останется красавицей и тогда, когда ее кожа, став суше, обтянет высокие скулы, – такой склад лица не мог измениться. Раньше она была по-саксонски розовой и белокурой, но теперь, с потемневшими волосами, стала даже лучше, чем тогда, когда золотистое облако вокруг лба затмевало всю остальную ее красоту.

На Rue de Saints Pères Розмэри вдруг указала на один дом и сказала:

– Вот здесь мы жили.

– Как странно! Когда мне было двенадцать лет, мы с мамой и с Бэби, моей сестрой, провели зиму вон в том отеле напротив.

Два серых фасада глазели на них с двух сторон – тусклые отголоски детства.

– У нас тогда достраивался наш дом в Лейк-Форест, и нужно было экономить, – продолжала Николь. – То есть сэкономили мы с Бэби и с гувернанткой, а мама путешествовала.

– Нам тоже нужно было экономить, – сказала Розмэри, понимая, что смысл этого слова для них неодинаков.

– Мама всегда выражалась очень деликатно: не «дешевый отель», как следовало бы сказать, а «небольшой отель». – Николь засмеялась своим магнетическим коротким смешком. – Если кто-нибудь из наших светских знакомых спрашивал наш адрес, мы никогда не говорили: «Мы живем в квартале апашей, в дрянной лачуге, где спасибо, если вода идет из крана», мы говорили: «Мы живем в небольшом отеле». Словно бы все большие отели для нас чересчур шумны и вульгарны. Конечно, знакомые отлично все понимали и рассказывали об этом направо и налево, но мама всегда утверждала, что в Европе нужно уметь жить и она умеет. Еще бы ей не уметь, ведь она родилась в Германии. Но мать ее была американкой, и выросла она в Чикаго, и американского в ней было гораздо больше, чем европейского.

До встречи со всеми прочими оставались считанные минуты, но Розмэри успела перестроиться на новый лад, прежде чем такси остановилось на Rue Guinemer, против Люксембургского

сада. Завтракать решено было у Нортгов, в их уже разоренной квартире под самой крышей, окнами выходившей на густую зелень древесных крон. Розмэри казалось, что даже солнце светит сегодня не так, как вчера. Но вот она очутилась лицом к лицу с Диком, их взгляды встретились, точно птицы задели друг друга крылом на лету. И вмиг стало все хорошо, все прекрасно, она поняла: он уже почти ее любит. Сумасшедшая радость охватила ее, живое тепло побежало по телу. Какой-то ясный спокойный голос запел внутри и все крепнул и набирал силу. Она почти не смотрела на Дика, но твердо знала, что все хорошо.

После завтрака Розмэри с Дайверами и Нортами отправилась в студию «Франко-Американ филмз»; туда же должен был приехать и Коллис Клэй, ее нью-хейвенский приятель, с которым она сговорилась по телефону. Этот молодой человек, родом из Джорджии, отличался той необыкновенной прямолинейностью и даже трафаретностью суждений, которая свойственна южанам, приехавшим на Север получать образование. Прошлой зимой Розмэри находила его очень милым и однажды, когда они ехали на машине из Нью-Хейвена в Нью-Йорк, позволила ему всю дорогу держать ее руку в своей; но сейчас он для нее попросту не существовал.

В просмотрном зале она сидела между Коллисом Клэем и Диком; у механика что-то заело в аппарате, и, пока он возился, налаживая его, какой-то француз из администрации увидался вокруг Розмэри, стараясь изъясняться новейшим американским сленгом. Но вот в зале погас свет, что-то знакомо щелкнуло, зажужжало, и они с Диком наконец остались одни. В полутьме они глянули друг на друга.

– Розмэри, милая, – прошептал Дик. Их плечи соприкоснулись. Николь беспокойно задвигалась на своем месте в конце ряда, а Эйб долго кашлял и сморкался; потом все успокоилось, и на экране замелькали кадры.

И вот она – прошлогодняя школьница с распущенными волосами, неподвижно струящимися вдоль спины, точно твердые волосы танагрской статуэтки; вот она – такая юная и невинная, плод ласковых материнских забот; вот она – воплощенная инфантильность Америки, новая бумажная куколка для услады ее куцей проститучьей души. Розмэри вспомнила, какой обновленной и свежей она чувствовала себя под свежим упругим шелком этого платья.

Папина дочка. Такая малипуся, а ведь чего только не натерпелась, бедненькая. Кисонька-лапочка, храброе маленькое сердечко. Перед этим крохотным кулачком отступали похоть и разврат, судьба и та оборачивалась по-иному, логика, диалектика, здравый смысл теряли всякую силу. Женщины, позабыв про горы немытой посуды дома, плакали в три ручья; даже в самом фильме одна женщина плакала так много, что едва не оттеснила в нем Розмэри на задний план. Она плакала в декорациях, стоивших целое состояние, в столовой в стиле Данкена Файфа¹⁵, в аэропорту, на реке во время парусных гонок, из которых вошло в картину только два кадра, в вагоне метро и, наконец, в туалетной. Но победа все же осталась за Розмэри. Богородство натуры, смелость и решительность помогли ей устоять против царящей в мире пошлости; все тяготы выдержанной борьбы читались на лице Розмэри, еще не успевшем превратиться в привычную маску, – и так по-настоящему трогательно была ее игра, что симпатии всего ряда зрителей то и дело устремлялись к ней. Картина шла с одним перерывом; как только дали свет, все наперебой принялись выражать свое восхищение, а Дик, переждав общий шум, сказал просто и искренне: «Вы меня потрясли. Уверен, что вы станете одной из лучших актрис нашего времени».

И снова на экране «Папина дочка». Житейские бури улеглись. Розмэри и ее родители нашли друг друга, и все закончилось нежной сценой, кровосмесительная тенденция которой была так очевидна, что от слащавой сентиментальности этой сцены Дик ушло за себя и за все сословие психиатров. Экран погас, в зале зажегся свет, настала долгожданная минута.

¹⁵ *Файф Данкен* (ок. 1768–1854) – декоратор и мебельный мастер, чьи поздние работы отличались тяжеловесностью и претенциозной орнаментальностью.

– У меня для вас еще один сюрприз, – во всеулышание объявила Розмэри. – Я устроила Дику пробу.

– Что, что?

– Кинопробу. Сейчас его пригласят.

Зловещая пауза – потом кто-то из Нортон не удержал смешка. Розмэри, не сводя глаз с Дика, по его подвижному ирландскому лицу видела, как он постепенно осознает смысл сказанного, – и в то же время ей становилось ясно, что главный козырь разыгран ею неудачно; но она все еще не понимала, что неудачен самый козырь.

– Ни на какую пробу я не пойду, – твердо сказал Дик; но, оценив положение в целом, продолжал более добродушно: – Что это вам вздумалось, Розмэри! Кино – прекрасная карьера для женщины, а из меня едва ли можно сделать киногогеря. Я старый сухарь, который знает только свой дом и свою науку.

Николь и Мэри стали поддразнивать его, уговаривая не упускать случая, – обе чуть раздосадованные тем, что сами не получили приглашения. Но Дик решительно перевел разговор на игру актеров, о которых отозвался довольно резко.

– Крепче всего запирают ворота, которые никуда не ведут, – сказал он. – Потому, наверно, что пустота слишком неприглядна.

Из студии Розмэри ехала с Диком и Коллисом Клэем – решено было, что они завезут Коллиса в его отель, а потом отправятся с визитом, от которого Николь и Нортон отговорились необходимостью сделать кой-какие дела, оставленные Эйбом на последнюю минуту. В такси Розмэри принялась упрекать Дика:

– Я думала, если проба окажется удачной, я возьму ролик с собой в Калифорнию. А тогда, может, вас бы пригласили сниматься, и вы могли бы стать моим партнером в новой картине.

Он не знал, что и сказать.

– Это очень мило, Розмэри, что вы так заботитесь обо мне, но, право же, я предпочитаю остаться вашим зрителем. В той картине, что мы сегодня смотрели, вы просто прелестны.

– Картина экстра-класс, – сказал Коллис Клэй. – Я ее четвертый раз смотрю. А один парень с моего курса видел ее раз десять – как-то даже специально в Хартфорд ездил за этим. А когда Розмэри приезжала в Нью-Хейвен, так он сконфузился и не захотел с ней знакомиться. Представляете? Эта девчушка разит наповал.

Дик и Розмэри переглянулись; им не терпелось остаться вдвоем, но Коллису это не приходило в голову.

– Давайте я сперва завезу вас, – предложил он. – Мне в «Лютетию», это почти по дороге.

– Нет, мы вас завезем, – сказал Дик.

– Да мне это все равно. Даже удобнее.

– Все-таки лучше мы вас завезем.

– Так ведь... – начал было Коллис, но тут до него вдруг дошло, и он стал уговариваться с Розмэри о следующей встрече.

Наконец они избавились от его несущественного, но обременительного присутствия, каким всегда бывает присутствие третьего лица. Еще несколько минут, неожиданно и досадно коротких, и такси, свернув на нужную улицу, остановилось перед нужным домом. Дик глубоко вздохнул.

– Что ж, пойдем?

– Как хотите, – сказала Розмэри. – Мне все равно.

Он помедлил, обдумывая.

– Пожалуй, придется пойти – хозяйка дома хочет купить несколько вещей моего знакомого художника, которому очень нужны деньги.

Розмэри провела рукой по волосам, устраняя предательский беспорядок.

– Пробудем минут пять и уйдем, – решил Дик. – Вам не понравятся эти люди.

Вероятно, какие-нибудь скучные обыватели, или развязные любители выпить, или назойливо-дотошные болтуны. Розмэри мысленно перебирала типы людей, каких обычно избегали Дайверы. Она и вообразить не могла того, что ей предстояло увидеть.

XVII

Этот дом на Rue Monsieur был перестроен из дворца кардинала Ретца, но от дворца остался только каркас, внутри же ничто не напоминало о прошлом, да и о настоящем, том, которое знала Розмэри, тоже. Скорей можно было подумать, что в старинной каменной оболочке заключено будущее; человек, переступавший, условно говоря, порог этого дома, чувствовал себя так, словно его ударило током или ему предложили на завтрак овсянку с гашишем, – перед ним открывался длинный холл, где синеватую сталь перемежали серебро и позолота, и все это сочеталось с игрою света в бесчисленных фасках причудливо ограненных зеркал. Но впечатление было не такое, как на Выставке декоративного искусства, потому что там люди смотрели на все снаружи, а здесь они находились внутри. Розмэри сразу же охватило отчуждающее чувство фальши и преувеличенности, словно она вышла на сцену, и ей казалось, что все кругом испытывают то же самое.

Здесь было человек тридцать, главным образом женщины, точно сочиненные Луизой Олкотт или графиней де Сегюр¹⁶, и они двигались по этой сцене так осторожно и нацеленно, как человеческая рука, подбирающая с полу острые осколки стекла. Ни во всех вместе, ни в ком-либо в отдельности не чувствовалось той хозяйской свободы по отношению к обстановке, которая появляется у человека, владеющего произведением искусства, пусть даже очень своеобразным и редким; они не понимали, что собой представляет эта комната, потому что это, собственно, уже и не была комната, а было что-то, совершенно от комнаты отличное; существовать в ней было так же трудно, как подниматься по крутому полированному пандусу, для него и требовалась упомянутая точность движений руки, собирающей разбитое стекло, – наличием или отсутствием подобной точности определялся характер большинства присутствующих.

Среди них можно было различить две группы. Одну составляли американцы и англичане, которые всю весну и все лето неумеренно прожигали жизнь и теперь в своих поступках следовали первому побуждению, часто необъяснимому для них самих. Они долгое время могли пребывать в сонном, безучастном состоянии, потом вдруг срывались в ссору, истерику или неожиданный адюльтер. Другая группа, назовем ее эксплуататорской, состояла из дельцов, людей более трезвых и целеустремленных, не расположенных тратить время по пустякам. Эти куда лучше умели приспособиться к окружающей среде и даже задавали тон, насколько оно было возможно здесь, где над всем господствовала новизна световых эффектов.

Этот Франкенштейн¹⁷ проглотил Розмэри и Дика мгновенно – они сразу же оказались врозь, и Розмэри с изумлением обнаружила: да ведь это она – маленькая лицемерка с неестественно тонким голоском, томящаяся в ожидании режиссера. Впрочем, все тут хлопали крыльями, кто как мог, и она не казалась нелепей других. К тому же помогла профессиональная выучка: несколько мысленных «смирно», «кругом» и «шагом марш», и вот она уже словно бы занята беседой с грациозной миловидной девицей, похожей на хорошенького мальчишку, на самом же деле напряженно прислушивается к разговору, который ведется на некой ступенчатой конструкции из пушечного металла, возвышающейся в четырех шагах наискосок от нее.

Три молодые особы расположились на нижней ступеньке конструкции, все три высокие, стройные, с небольшими головками, причесанными, как у парикмахерских манекенов;

¹⁶ *Олкотт Луиза* (1832–1888) – американская писательница, автор назидательных детских книг «Маленькие женщины» (1868), «Маленькие мужчины» (1871) и др.; *де Сегюр Софи* (урожд. Ростопчина, 1799–1894) – автор популярных книг для детей («Незгоды Софи» и др.), а также знаменитых писем дочери и внуку.

¹⁷ *Франкенштейн* – герой одноименного романа (1818) английской писательницы Мэри Шелли (1797–1851), молодой ученый, пытавшийся оживить материю и создавший человекоподобное существо, которое становится врагом людей. Нарисованно – человек, который не в состоянии совладать со своим талантом, подчинив его служению добру.

когда они говорили, головки покачивались над темными костюмами полумужского покроя, как цветы на длинных стеблях или капюшоны кобр.

– Нет, нужно признать, на вечерах у них всегда весело, – сказала одна грудным, звучным голосом. – Пожалуй, нигде в Париже такого веселья не найдешь. И в то же время... – Она вздохнула. – Эти его постоянные фразочки – «аборигены, источенные червями», один раз это еще смешно, но больше...

– Предпочитаю людей, чья жизнь не выглядит такой гладкой, – сказала другая. – А ее я и вовсе терпеть не могу.

– Мне они никогда особенно не нравились, а их компания и подавно. Взять хотя бы этого мистера Норта, который вот-вот потечет через край.

– Ну кто о нем говорит, – отмахнулась первая. – Но согласитесь, тот, кого мы тут обсуждаем, иногда бывает просто неотразим.

Тут только Розмэри догадалась, что речь идет о Дайверах, и вся словно окостенела от негодования. Между тем ее собеседница, настоящий рекламный экземпляр – голубые глаза, розовые щеки, крахмальная голубая блузка, безукоризненный серый костюм, – перешла в наступление. Все это время она старательно отодвигала в сторону все, что могло заслонить ее от Розмэри, и теперь, когда благодаря ее стараниям между ними не осталось ничего, даже тонкой завесы юмора, Розмэри разглядела ее во всей красе – и не пришла в восторг.

– Может быть, позавтракаем или пообедаем вместе – завтра или хотя бы послезавтра, – упрашивала девица.

Розмэри огляделась, ища Дика, и наконец увидела его рядом с хозяйкой дома, с которой он так и проговорил с самого их прихода. Их взгляды встретились, он слегка кивнул, этого было достаточно, чтобы три кобры ее заметили. Три длинные шеи вытянулись к ней, три пары глаз уставились на нее критически. Она ответила вызывающим взглядом, открыто признавая, что слышала их разговор. Потом, совсем по-дайверовски, вежливо, но решительно отделалась от приставучей собеседницы и пошла к Дикю. Хозяйка дома – еще одна стройная богатая американка, беспечно пожинаящая плоды национального процветания, – мужественно преодолевая сопротивление Дика, забрасывала его вопросами об отеле Госса, куда, видимо, собиралась устремиться. Увидев Розмэри, она вспомнила о своих хозяйских обязанностях и поторопилась спросить: «У вас нашлись интересные собеседники? Вы познакомились с мистером...» – ее взгляд заметался по сторонам в поисках лица мужского пола, которое могло бы заинтересовать Розмэри, но Дик сказал, что им пора. Они ушли сразу же и, перешагнув узкий порог будущего, нырнули в тень прошлого, отбрасываемую каменным фасадом.

– Это было ужасно, – сказал он.

– Ужасно, – покорно откликнулась она.

– Розмэри!

Замирающим голосом она шепнула:

– Что?

– Я себе простить не могу.

У нее подергивались плечи от горестных всхлипываний.

– Дайте мне носовой платок, – жалко пролепетала она.

Но плакать было некогда; с жадностью влюбленных они накинулись на короткие минуты, пока за стеклами такси тускнели зеленоватые сумерки и под мирным дождиком вспыхивали в кроваво-красном, неоновом-голубом, призрачно-зеленом дыму огни реклам. Кончался шестой час, улицы были полны движения; призывно светились окна бистро, и Place de la Concorde, величественная и розовая, проплыла мимо, когда машина свернула на север.

Они наконец посмотрели друг на друга, шепча имена, звучавшие как заклятия. Два имени, которые долго не таяли в воздухе, дольше всех других слов, других имен, дольше музыки, застрявшей в ушах.

– Не знаю, что на меня нашло вчера, – сказала Розмэри. – Наверно, тот бокал шампанского виноват. Никогда со мной ничего подобного не было.

– Просто вы сказали, что любите меня.

– Я вас правда люблю – с этим ничего не поделаешь. – Тут уж было самое время поплакать, и Розмэри тихонько поплакала в носовой платок.

– Кажется, и я вас люблю, – сказал Дик, – а это совсем не лучшее, что могло случиться.

И опять два имени, – а потом их бросило друг к другу, словно от толчка такси. Ее груди расплющились об него, ее рот, по-новому теплый, сросся с его ртом. Они перестали думать, перестали видеть, испытывая от этого почти болезненное облегчение; они только дышали и искали друг друга. Их укрыл мягкий серый сумрак душевного похмелья, расслабляя нервы, натянутые, как струны рояля, и поскрипывающие, как плетеная мебель. Чуткие, обнаженные нервы, соприкосновение которых неизбежно, когда губы прильнут к губам и грудь к груди.

Они еще были в лучшей поре любви. Они виделись друг другу сквозь мираж неповторимых иллюзий, и слияние их существ совершалось словно в особом мире, где другие человеческие связи не имеют значения. Казалось, путь, которым они пришли в этот мир, был на редкость безгрешен, их свела вместе цепь чистейших случайностей, но случайностей этих было так много, что в конце концов они не могли не поверить, что созданы друг для друга. И они прошли этот путь, ничем себя не запятнав, счастливо избегнув общения с любопытствующими и скрытничавшими.

Но для Дика все это длилось недолго; отрезвление наступило раньше, чем такси доехало до отеля.

– Ничего из этого не выйдет, – сказал он почти с испугом. – Я люблю вас, но все, что я говорил вчера, остается в силе.

– А мне теперь безразлично. Я только хотела добиться вашей любви. Раз вы меня любите, значит, все хорошо.

– Люблю, как это ни печально. Но Николь не должна ничего знать – не должна хотя бы отдаленно заподозрить. Я не могу расстаться с Николь. И не только потому, что не хочу, – тут есть другое, более важное.

– Поцелуйте меня еще.

Он поцеловал, но он уже не был с нею.

– Николь не должна страдать – она меня любит, и я ее люблю, – я хочу, чтобы вы поняли это.

Она понимала – это она всегда понимала хорошо: нельзя причинять боль другому. Она знала, что Дайверы любят друг друга, она это принимала как данность с самого начала. Но ей казалось, что это уже остывшее чувство, скорей похожее на ту любовь, которая связывала ее с матерью. Когда люди так много себя отдают посторонним, не знак ли это, что им уже меньше нужно друг от друга.

– И это настоящая любовь, – сказал Дик, угадав ее мысли. – Любовь действенная – все тут сложнее, чем вы можете себе представить. Иначе не было бы той идиотской дуэли.

– Откуда вы знаете про дуэль? Мне сказали, что вам об этом ничего говорить не будут.

– Неужели вы думаете, Эйб способен что-нибудь удержать в тайне? – В его голосе послышалась едкая ирония. – Если у вас есть тайна, можете сообщить о ней по радио, напечатать в бульварной газетенке, только не доверяйте ее человеку, который пьет больше трех-четырёх порций в день.

Она засмеялась, соглашаясь, и крепче прижалась к нему.

– Словом, наши отношения с Николь – сложные отношения. Здоровье у нее хрупкое, она только кажется здоровой. Да и все тут очень непросто.

– Не надо сейчас об этом. Поцелуйте меня, любите меня сейчас. А потом я буду любить вас так тихо, что Николь ничего не заметит.

– Милая моя девочка.

Они вошли в вестибюль отеля; Розмэри чуть поотстала, чтобы любоваться им, восхищаться им со стороны. Он шел легким упругим шагом, будто возвращался после великих дел и спешил навстречу еще более великим. Зачинщик веселья для всех, хранитель бесценных сокровищ радости. Шляпа на нем была образцом шляпного совершенства, в руке он держал массивную трость, в другой руке – желтые перчатки. Розмэри думала о том, какой чудесный вечер ждет тех, кому посчастливится провести этот вечер с ним.

Наверх, на пятый этаж, они пошли пешком. На первой площадке лестницы остановились и поцеловались; на второй она решила, что надо быть осторожнее, на третьей – тем более; не дойдя до следующей, она задержалась для короткого прощального поцелуя. Потом они сошли на одну лестницу вниз – так захотелось Дику – и после этого уже без остановок поднялись на свой этаж. Окончательно простились наверху лестницы, долго не расцепляли протянутых через перила рук, но наконец расцепили – и Дик снова пошел вниз, распорядиться насчет вечера, а Розмэри вернулась к себе и сразу же села писать письмо матери; совесть ее мучила, потому что она совсем не скучала о матери эти дни.

XVIII

Не питая особой симпатии к узаконенным формам светской жизни, Дайверы были все же слишком живыми людьми, чтобы пренебречь заложенным в ней современным ритмом; на вечерах, которые задавал Дик, все делалось для того, чтобы гости не успевали соскучиться, и короткий глоток свежего ночного воздуха казался сладким вдвойне при переходе от развлечения к развлечению.

В этот вечер веселье шло в темпе балаганного фарса. Сначала было двенадцать человек, потом шестнадцать, потом четверками расселись в автомобили для бысролетной одиссеи по Парижу. Все было предусмотрено заранее. Как по волшебству появлялись новые люди, с почти профессиональным знанием дела сопутствовали им часть времени, потом исчезали, и их место занимали другие. Это было совсем не то, что знакомые Розмэри голливудские кутежи, пусть более грандиозные по масштабам. Одним из аттракционов явилась прогулка в личном автомобиле персидского шаха. Бог ведает откуда, какими путями Дику удалось раздобыть этот автомобиль. Розмэри приняла его появление как очередное звено в той цепи чудес, что вот уже два года тянулась через ее жизнь. Автомобиль был изготовлен в Америке по особому заказу. Колеса у него были серебряные, радиатор тоже. В обивке кузова сверкали бесчисленные стекляшки, которые придворному ювелиру предстояло заменить настоящими бриллиантами, когда машина спустя неделю прибудет в Тегеран. Сзади было только одно место, ибо никто не смеет сидеть в присутствии шаха, и они занимали это место по очереди, а остальные располагались в это время на высланном кунным мехом полу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.